

АНАТОЛИЙ ВИШНЕВСКИЙ

СУДЬБА ОДНОГО ДЕМОГРАФА:
ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ЭПОХИ

Автор публикуемых ниже воспоминаний Михаил Вениаминович Курман прожил 75 лет, из них 18,5 — четверть жизни — с клеймом государтсвенного преступника, «врага народа». По обычным человеческим меркам, судьба автора воспоминаний необыкновенна — что-то, вроде графа Монте-Кристо, чудом возвратившегося из небытия. По советским же меркам 30-х — 50-х годов XX века — обычная, рядовая судьба, которую разделили миллионы.

Даже если взять намного более узкий круг людей — профессиональную среду, к которой принадлежал Курман, демографов, — и здесь нет ничего необычного. Их почти всех уничтожили или «изолировали», а их и было не так-то много. Демография — не генетика, академическая отрасль со сложившимися традициями, институтами, блестящими, известными всему миру именами. Чтобы извести все это, понадобились крупные провокации, громкие спектакли, мощное идеологическое давление. Мастера политической интриги сталинской школы гордились своей работой, сами искали аудитории — тут и не захочешь, а узнаешь.

Ничего подобного не было с демографией. Ее упразднили походя, между делом, никто того и не заметил. Два маленьких института, несколько десятков не очень известных, а то и вовсе неизвестных специалистов на всю страну... Да с этим расправиться — раз плюнуть! Наверно, сотруднику «органов» надо было быть полупопальным, чтобы получить такое малоответственное поручение.

Пожалуй, первой жертвой стал Владимир Владиславович Паевский (1893-1934), центральная фигура ленинградского Демографического института. Он умер от сердечного приступа в машине у подъезда собственного дома через несколько часов после того, как общее собрание Академии наук СССР проштамповало решение Президиума Академии о ликвидации института. Видно, принял такой

пустяк слишком близко к сердцу. Паевскому был 41 год, и — шутка в духе черного советского юмора — он мог бы спокойно жить еще три года.

Через три года все равно, скорее всего, пропал бы. В 1937 году в мясорубку репрессий стала затягиваться чуть не вся корпорация демографов — и именитые, и безвестные. Олимпий Аристархович Квиткин (1874-1937? 1939?), Андрей Николаевич Гиршфельд (1881-?), Михаил Васильевич Птуха (1884-1961), Арсений Петрович Хоменко (1891-1939), Василий Федорович Резников (1892-?), Боле-слав Яковлевич Смудевич (1894-1981), Илья Исаакович Вейцблит (1895-?), Юрий Авкентьевич Корчак-Чепурковский (1896-1967), Михаил Николаевич Трацевский (1897-1979), Аркадий Михайлович Мерков (1899-1971), Михаил Вениаминович Курман (1905-1980), Лазарь Соломонович Брандгендлер (1908-1942), — имена всех репрессированных демографов еще не собраны, но ясно, что буквально единицы не попали под нож «органов».

Судьба этих единиц тоже была не слишком благостной. Демография почти перестала существовать, уцелевшие демографы — писать и публиковаться. Б. Ц. Урланис, например, преподавал статистику в Московском университете — до тех пор, пока газета *Московский университет* (14 марта 1949 г.) не написала: «На экономическом факультете долгое время подвизался оголтелый космополит, апологет и проповедник англо-американского империализма профессор Урланис». А через месяц последовал приказ:

Москва, 16/IV 1949 г.

«Отчислить из Московского университета профессора кафедры учета и статистики Экономического факультета Урланиса Бориса Цезаревича с 14 апреля 1949 года за низкое идейно-политическое содержание лекций, выразившееся в восхвалении буржуазного статистического учета и принижении деятельности советской статистической науки.

Профессор Урланис аполитичен и совершенно не владеет марксистской методологией. За грубые ошибки в преподавании статистики проф. Урланис в 1948 г. был выведен из состава Учебного Совета.

Основание: — Решение Учебного Совета факультета и Университета.

Проректор Московского университета Г. Д. Вовченко.»

Да что Урланис. В. Н. Старовский с 1940 г. был главным статистиком страны, начальником ЦСУ СССР. Он пришел на этот пост после того, как были последовательно расстреляны три его предшественника — В. В. Осинский, И. А. Краваль и И. Д. Верменичев — всем им, по долгу службы, приходилось заниматься и демографическими вопросами, так что их тоже можно включить в демографический мученик. Уж кажется, не было человека, провереннее, чем Старовский, а и он чем-то не угодил, — впрочем, может, просто решили припугнуть. В 1952 г. ЦК ВКП(б) вынес решение поставить перед ВАК СССР вопрос о лишении его ученой степени

доктора наук. Но, в конце концов, обошлось, Старовский еще много лет оставался на своем посту, он пересидел на нем не только Сталина, но и Хрущева, и Брежнева. Все же тот, кто знает, что такое идеологические проработки и «оргвыводы» тех лет, едва ли захотел бы оказаться тогда на его месте, равно как на месте Урланиса или тоже жестоко критиковавшегося А. Я. Боярского. Но все-таки они остались на свободе, со своими семьями, продолжали работать. С арестованными было не так.

Люди внезапно падали в какую-то черную дыру, и что было с ними дальше, никто не знал да и сейчас об этом известно не так уж много. Единицы были освобождены довольно быстро, как например, украинский академик Птуха — но и он подвергался избиениям в тюрьме, и скорее всего, ему просто повезло, возможно, благодаря временным ослаблениям репрессий в момент смены руководства НКВД (замены Ежова на Берия). Большинство же арестованных исчезало надолго, если не навсегда. Одним давали «десять лет без права переписки» (т.е. расстрел), другие продолжали жить еще какое-то время на зловонных нарах тюрем и лагерей, были и такие, кому удалось пройти через все и снова выбраться на свет божий. Обо всем этом известно мало. Только в отношении Хоменко известно определенно, что он был расстрелян. Возьмите еще недавно опубликованные их официальные биографии — вы ничего не поймете. Кто погиб, кто умер своей смертью, кто выжил, а кого и вообще судьба миловала? Откройте, например, *Демографический энциклопедический словарь* (1985). Почти все имена там присутствуют, но никакого намека на страшную судьбу. Такие намеки были запретны и отовсюду вычеркивались, хотя по дырам в биографиях, по длительному отсутствию публикаций, по неожиданному месту жительства — Корчак в Самарканде, Курман — на Алтае и т.п. — все становилось ясно. И все же историкам науки еще придется повозиться, разбираясь в биографиях людей, живших и как бы не живших рядом с нами. Прочтут они, надеюсь, и публикуемые ниже воспоминания Курмана.

Ценность их как раз и заключается в том, что автор воспоминаний — один из многих. Все как у всех до ареста. Родился 20 июня 1905 г. в г. Лепель Витебской губернии в семье учителя. Окончил школу, вступил в комсомол, в 1923 г. уехал учиться в Петроградский университет, в 1928 г. окончил его физико-математический факультет по специальности «статистика». Был как все. Долгие годы находился под влиянием массового психоза, охватившего всю страну или, по крайней мере, значительную часть ее населения. Как-то показал мне фотографию 20-х годов — если не ошибаюсь, на ней были изображены члены комсомольской ячейки, возможно в его родном городишке в Белоруссии. Среди них — юный Курман в кожаной куртке с сияющим взглядом фанатика. «Вот когда я был счастливым!», — сказал он. Будучи по образованию математиком-

статистиком, он с самого начала работал в области социально-экономической статистики и непрочь был поучаствовать в «идеологической борьбе» тех лет. Чего стоят, например, названия некоторых его тогдашних статей: «Против махистской контрабанды в статистике» — о книге А. Митропольского *Техника статистического исчисления* или «Об одной вредной книге» — о работе Д. Верхопятницкого *Аграрное перенаселение в Ленинградской области*. Любопытно, что последняя статья была опубликована анонимно, но Курман сам называет ее в списке своих опубликованных работ.

С 1932 по 1937 г. Курман работал в Центральном Управлении народнохозяйственного учета (ЦУНХУ) Госплана СССР, в последнее время — начальником сектора населения, заместителем начальника отдела населения и здравоохранения. Как видим, неплохая карьера, но по тем временам опасная. Примерно десять лет спустя после смерти Курмана его имя привлекло внимание историков и демографов, занимавшихся выяснением судьбы переписи населения 1937 г., в свое время объявленной вредительской. В архивах обнаружилась подготовленная Курманом «Докладная записка о естественном движении населения в период между двумя переписями — 17/XII 1926 г. и 6/I 1937 г.», в которой он пытался объяснить причины расхождений между результатами переписи населения и текущего учета и тем самым защитить перепись. За это он, видимо, и поплатился четвертью своей жизни. Докладная записка датирована 14 марта 1937 г., а уже 21 марта его арестовали. О том, что происходило после этого дня, он и говорит в своих воспоминаниях, к сожалению, неоконченных. Они доведены до момента выхода из лагеря в марте 1947 г. — по истечении десятилетнего срока. Бывший зэк потихоньку возвращается к нормальной жизни, в его послужном списке появляется запись: в 1948-1949 гг. — преподаватель математики в Рубцовском филиале Алтайского института сельскохозяйственного машиностроения. Затем новый провал — до 1955 г. Это — второй арест. И только в 1955 г. окончательное освобождение. Весь этот период жизни М. В. Курман уложил в его автобиографии в несколько слов.

«В годы культа личности Сталина просидел в тюрьме, лагере и ссылке 18,5 лет (1937-1955). В августе 1955 года решением Военной Коллегии Верховного Суда СССР был полностью реабилитирован за отсутствием состава преступления. Согласно существующим законам, все годы, проведенные в тюрьме, лагерях и ссылке, зачтены мне в трудовой стаж.»

После освобождения М. В. приезжает в Харьков и снова работает в статистических учреждениях, естественно, но гораздо меньших должностях, занимается наукой, пишет и публикует три книги, большое число статей. В момент ареста Курман был кандидатом в члены Коммунистической партии, после освобождения и реабилитации — 19 лет спустя — вступил в ее члены. Еще и в первые годы

моего знакомства с ним мне приходилось слышать от него фразы, начинавшиеся со слов «Я как большевик...» или что-нибудь в этом роде. Что стояло за этим? Истинная вера? Страх или, по крайней мере, осторожность? Конформизм? Стремление не упустить каких-то возможностей текущего дня? Постепенно исходивший от М. В. «идеологический напор» ослабевал, он все более трезвым взглядом смотрел на нашу социальную действительность. Тревожило его и кое-что из его собственного прошлого. Он говорил, например, что чувствует вину за непосредственное участие в двух неблагоприятных деяниях — введении паспортной системы и запрете аборт. Тем не менее он до последних дней оставался «большевиком», убежденным, что мы живем при социализме, нуждающемся лишь в том, чтобы освободить его от некоторых деформаций.

В Харькове М. В. оказался потому, что здесь жила его семья — жена и дочь, родившаяся незадолго до ареста. Семейная жизнь, насколько я могу судить, наладилась. Жена — Рахиль Львовна Михайлович — ждала его все годы, самоотверженно помогала после возвращения. После 18 лет ГУЛАГа руки у М. В. слегка дрожали, и почерк порой становился совсем неразборчивым. Рахиль Львовна перепечатывала все, им написанное, была в курсе всех его дел.

Профессиональной же своей жизнью М. В. не был удовлетворен. Работа в Харьковском областном статистическом управлении была рутинная, неинтересная, а времени отнимала много. Он писал свои статьи и книги в свободное от работы время, страдал от отсутствия научного общения, возможностей публиковаться. Я был причастен к одной из его попыток сменить работу и видел, как она сорвалась в результате заурядной карьеристской интриги. Опасаясь конкуренции со стороны маститого, несмотря ни на что, Курмана, некий провинциальный прохиндей стал доказывать, что все-таки человек «с таким прошлым» не заслуживает полного доверия и не может быть поэтому взят на работу. Дело было в либеральные хрущевские времена, но общество наше не знало покаяния. Прохиндейский довод возымел действие, оскорбленному и униженному Курману, уже ушедшему с прежней работы, пришлось проситься назад, в опустылевшее статуправление. Он покинул его, только достигнув пенсионного возраста, и лишь тогда смог на несколько лет устроиться в исследовательскую лабораторию при Харьковском университете, которую он фактически и возглавил. Но и эта работа не удовлетворяла его полностью. К тому же время шло, прибавлялись годы, не становилось лучше и здоровье, подорванное в тюрьмах и лагерях. Я в то время жил уже в Москве, мы переписывались. Письма М. В. сохранились, вот несколько выдержек из них. Письма передают его тогдашнее настроение, говорят о круге интересов, но кое-что и о том, как проходила адаптация уцелевших жертв репрессий к жизни, в которую они вернулись после многолетней «изоляции».

Харьков, 7/ХП-76 г.

«Где-то в мире происходят интересные события, а я все один. 'Одинокий бизон' от демографии. Об этих интересных вещах я узнаю совершенно случайно. Вот, например, вчера получил дошедший до меня кружным путем через ЦСУ СССР доклад П. В. Гугушвили 'О формировании семьи в аспекте воспроизводства населения'. Этот доклад автор сделал на Всесоюзной конференции в Тбилиси (12-14 октября). А я и не знал о ней ничего [...] Я делаю всяческие попытки выйти из 'демографической изоляции', но пока толку мало. [...] Мои статьи лежат у Саши Кваши, Вовы Пискунова и даже у Андрея Волкова (в последнем я не убежден, но ведь он имеет отношение к литературному наследству Ф. Д. Лившица, а тому я давно передал статью 'Об одной форме выражения средних'). Я просил помочь мне с привлечением к работе зам. директора Ин-та экономики в Одессе, Боярского и Волкова, но ответа все нет. Я даже и не обижаюсь — у каждого свои дела, и некогда думать о где-то прозябающем старике. Несколько человек — Сонин, Урланис и др. — нахваливали мою книжку и тут же оговаривались, что они 'сейчас рецензий не пишут'! А хотелось бы увидеть рецензию в печати. Но, увы!..

Даже демографическая редакция, которая раньше мне посылала 3-4 книги в год на рецензирование и всегда хвалила мои рецензии, забыла о моем существовании. Вот так-то!

Перечел и ужаснулся — столько я тут навел всяческой 'мерехлюндии'. Лучше напишите о себе, о своих планах, о новых книгах, о демографических новостях и перспективах. Всегда очень радуюсь В. письмам. Привет друзьям и товарищам... Ваш М. Курман.»

Харьков, 18 декабря 1977 г.

«... Пишу Вам это письмо, находясь в состоянии тяжелого заболевания. Вы, вероятно, помните, что уже во время моего майского пребывания в Москве я себя плохо чувствовал. Это недомогание продолжалось все лето, пока 29 сентября не произошло следующее. Я на автобусе ехал в Университет, чтобы оформить подписку на газеты и журналы на 1978 г. И вот в пути произошел приступ удушья с отдачей в левую руку (рука как бы застыла). Я с трудом добрался до Университета. Там меня повели в медпункт, уложили на койку и сделали укол... Когда я отлежался, меня посадили в такси и отправили домой. Несколько дней я не выходил. Затем как будто все прошло. Я опять стал выходить. Мы стали готовиться к поездке в Ленинград, где неплохо отдохнули в 1973 г. и в 1975 г. в Зеленогорске, в Доме Архитектора. Но в октябре опять начались рецидивы сентябрьского приступа. Началось хождение к врачам, а затем врачей — участкового, зав. отделением, доцента — ко мне. Сделали уже три ЭКГ — последние две на дому. Первая была плохая — ярко выраженный острый приступ стенокардии (врач сказал также и прежнее название — грудная жаба). Последующие ЭКГ были несколько лучше, но все же они остаются неудовлетворительными. Врачи поликлиники диагностируют болезнь как хроническую, 'привозной' доцент — как микроинфаркт. Так или иначе, но вот больше месяца как я не выхожу из дома [...], прописали мне полупостельный режим, что на языке врачей означает: все время лежать и подниматься только для приема пищи и других неотложных нужд. В связи с таким режимом нарушилось нормальное функционирование других органов. Вот такие пироги!...

[...] Я буду делать все, что велят врачи, — мне, честно говоря, не хочется сдаваться. Но если будет иной — неоптимальный — вариант исхода, то — на худой конец — и это не страшно. Мне почти 72,5 лет, что не так уж и мало (выше средней продолжительности жизни мужчины), тем более, если учесть мою биографию. Единственное, чего бы я не хотел, — это потерять возможность самообслуживания на длительное время. Не хотелось бы еще и терпеть боли продолжительное время.

Толя! Я хочу, чтобы при реализации второго варианта (все мы под Богом ходим) Вы взяли на себя труд позаботиться о моем архиве. Я не склонен преувеличивать роль своей личности в демографии, но все же мне кажется, что работа, над которой я тружусь около 2-х лет: *Важнейшие структуры населения СССР* — представляет определенный интерес. Я знаю трудности с изданием, но это уже другой вопрос. Представляется, что некоторые высказанные в работе положения, разработанная система показателей, собранные данные и сделанные расчеты не должны пропасть. Я уже написал 5 глав. Все они лежат на полке над моим столом. Мне очень дороги и мои скромныеopusы по теории чисел под общим названием 'Несколько задач из области диофантова анализа'. Хотя 'теоретико-численники', к которым я обращался, и говорят, что современная теория чисел этими вопросами не занимается, но мне хочется думать, что это не так. В частности, перспективен путь решения этих задач на ЭВМ...

А если реализуется оптимальный вариант, на что я надеюсь, тогда на сцену выдвигаются текущие дела — статья в В[ашем] сборнике, статья в сборнике ЦЭМИ у Нинель Ефимовны Рабкиной, рецензия на мою книжку, статья в *Вестнике статистики*, которая, видимо, не выйдет.

Всегда Ваш М. Курман.»

А вот одно из последних писем.

Харьков, 15-ХІ-79

«Дорогой Толя!

Получил Ваше пространное поздравительное письмо, вложенное в присланную Вами книгу. Дважды спасибо: за книгу и за письмо. Вы меня не забываете, 'подкармливаете' духовной пищей, и это так для меня важно. Вы пишете, что истолковали мое молчание в ответ на Ваше предыдущее письмо как свидетельство моей неудовлетворенности письмом. Честно говоря, я действительно не удовлетворен, но не письмом, а сложившейся ситуацией. Как там ни говори, но перспектив для публикации — а значит и для целенаправленной работы — у меня не предвидится ни в *Статистике*, ни у Вас в НИИ, ни в МГУ. [...] Я обдумывал Ваше (и Андр[ея] Гавр[иловича]) предложение мне заняться мемуарами. Вряд ли из этого что-нибудь получится. Ведь для такой работы необходимо порыться в архивах, а это можно сделать только в Москве и, пожалуй, в Ленинграде; в Харькове же нет никаких материалов о тех демографах, которых я знал, да и о том периоде в истории демографии.

Таким образом, вряд ли из меня выйдет историограф отечественной демографии. Но моя неудовлетворенность ни в коей мере не относится к Вашему (и Андр. Гавр.) отношению ко мне: я знаю, что Вы рады бы мне помочь, да не в силах, видимо.

Вопреки всему, я немного занимаюсь. (Сейчас работаю над динамикой числа детей в семье. Кажется, что-то получается). Написал и послал в журнал *В мире книг* рецензию на книгу Б. Ц. Урланиса *Эволюция продолжительности жизни*. Из редакции получил 12 октября письмо такого содержания: 'Ваш материал будем готовить в один из очередных номеров нашего журнала с изрядными сокращениями'. Интересно, когда рецензия появится (в каком номере) и что от нее останется?

Кончаю. Привет Марине и друзьям демографам.

P.S. Насчет Э. Россета. Почерк у меня действительно плохой. Печатать же некому — Р. Л. серьезно болеет (я Вам писал).»

Помочь М. В. было трудно по разным причинам, но главной, видимо, все же была та, что убитая демография все никак не могла по-настоящему воскреснуть. Казалось бы, что за проблема в огромном университетском центре — Харькове найти скромное место преподавателя демографии. Но такого места не было, ибо ее нигде не изучали и не преподавали. Исключением была Москва, но и здесь — и в 60-е, и в 70-е годы все было зажато идеологическим контролем, даже слабые попытки сказать свежее слово встречали постоянное сопротивление.

Вот несколько штрихов, помогающих понять атмосферу тех лет. В 1965 г. в Киеве была опубликована повесть «Род людской». В ней в «художественной форме» рассказывалась история идейного противостояния советского демографа-гуманиста Петра Григорьевича Великанова и французского мальтузианца Мишеля Савана. Автор «повести» был В. Ф. Бурлин, начальник управления переписи населения ЦСУ Украины. Прообразом же его героя был П. Г. Подъячих, его непосредственный московский начальник, руководитель аналогичного управления ЦСУ СССР и многолетний представитель СССР в Комиссии ООН по народонаселению. Там он и боролся с Саваном.

В повести несчастный Саван буквально раздавлен аргументацией и благородством своего советского оппонента. Он срочно перековывается и после своей первой, мальтузианской книги пишет две новые — антимальтузианские. За это его увольняют из Национального института демографических исследований, он остается без средств к существованию, и тут бы ему и погибнуть, если бы благородный Великанов не организовал публикацию его книг в СССР и других «социалистических» странах. Но все равно удары судьбы слишком тяжелы для бедного Савана, он переносит инфаркт и в конце концов умирает.

На деле же Великанов-Подъячих боролся не только с Саваном и не только в Нью-Йорке. Там-то борьба была как раз бутафорской. Его звезда взошла после опорочения переписи населения 1937 г. и ареста большинства ее ведущих участников. В 60-е годы появились признаки их реабилитации и возрождения демографии, и Подъячих бросил весь свой вес, тогда немалый, чтобы доказать ненужность демографии как самостоятельной науки в СССР и запятнать тех, кто пытался хоть как-то пробудить в стране демографическую мысль.

Он непрестанно писал письма в разные высокие инстанции, требуя окоротить чрезмерно свободомыслящих (так ему казалось) демографов и «защитить марксизм-ленинизм». В декабре 1970 г., например, он в очередной раз взывал к ЦК КПСС, прилагая «новые данные об искажении и ревизии взглядов Маркса, Энгельса и Ленина в советской печати» и требовал приструнить отступников. Он напоминал, что ему

«по поручению самого же ЦК КПСС уже почти 10 лет приходится организовывать работу по освещению марксистско-ленинской теории народонаселения на международных конференциях, симпозиумах и совещаниях, а как представителю СССР в Комиссии ООН по народонаселению мне даются *письменные задания* [подчеркнуто в оригинале — А. В.] отстаивать на ее сессиях марксистско-ленинскую точку зрения и критиковать буржуазные теории».

Между тем,

«у нас уже несколько лет такие работы, как [...] брошюра Гузеватого [речь шла о брошюре Я. Н. Гузеватого *Программы контроля над рождаемостью в развивающихся странах*] и *Один день Ивана Денисовича* Солженицына легко публикуются. [...] У нас много говорится о необходимости борьбы с буржуазной идеологией, а на деле в печати легче выступить тем, кто в своих работах льет воду на мельницу буржуазных идеологов.»

Такой реакции, на какую рассчитывал Подъячих, в те годы уже не было. Его времена ушли, развязка оказалась совсем не той, которая виделась автору упомянутой «повести». В 1977 г. ее герой покончил с собой. Но все же сказать, что к его словам совсем не прислушались или что он был одинок в своем законсервированном догматизме и доносительстве по убеждению, тоже нельзя. Интеллектуальная атмосфера была надолго отравлена ядом сталинских идеологических проработок, их дух и сейчас не испарился полностью, а тогда был еще очень силен, убивал всякую свободную мысль. Это сказалось, конечно, на судьбах не одной только демографии, но ее развитие затормозило очень сильно. Она и сейчас у нас еще не вышла из пеленок, а тогда и подавно. Вот об это-то и споткнулась профессиональная жизнь Курмана — и этого он никак не мог понять. Ему-то, после лагеря, эта жизнь казалась свободной...

Годы спустя после смерти М. В. мне попала на глаза небольшая заметка в газете *Известия* (21 октября 1988 г.). В ней приводились слова из интервью начальника отдела массово-разъяснительной работы по переписи населения Госкомстата СССР В. Алферова: «Мы не можем ответить точно, за что были репрессированы люди, организовывавшие перепись. Может быть, за спекуляцию картошкой... Доказательств нет». Со времени суда над М. В. минуло ровно 50 лет...

В 1975 г. М. В. исполнялось 70 лет. Чтобы как-то облегчить одолевавшее его чувство заброшенности и забывтости А. Г. Волков и я через А. Я. Боярского, директора Научно-исследовательского института ЦСУ СССР, где мы тогда работали, стали хлопотать перед В. Н. Старовским, с которым М. В. был знаком еще до ареста и к которому он несколько раз обращался после освобождения, о награждении М. В. ведомственным знаком «Отличник социального учета». Решили, что это будет ему приятно. Старовский не отказал, попросил подготовить документы, но ведь и он прошел ту самую школу. В последний момент он уклонился от решения и велел переслать документы в Киев — Курман жил на Украине, и формально его должно было награждать ЦСУ Украины. На том дело и кончилось. М. В. об этом ничего не знал. Все же в день юбилея Старовский прислал ему поздравительную телеграмму (не забыл!) — на специальном бланке со штампом «Правительственная». М. В. был на седьмом небе, долго всем об этом рассказывал. Спустя какое-то время был семидесятилетний юбилей самого Старовского, его наградили орденом Ленина, и М. В. был так горд этим, как будто наградили его самого.

Несколько слов об истории этих воспоминаний, которая тоже проливает некоторый свет на последний период жизни Курмана, а отчасти и на его посмертную судьбу, тоже, полагаю, весьма типичную. Я познакомился с М. В. в Харькове, где мы оба тогда жили, в 1959 или 1960 г. Постепенно мы сблизились, и примерно в 1963 г. он начал рассказывать мне историю своей потерянной четверти жизни. Видимо, ему надо было с кем-то поделиться пережитым, а семью свою он щадил, считал, что жене слушать тюремные воспоминания будет тяжело. Мы не сразу сообразили вести магнитофонную запись, так что часть рассказанного утрачена. Есть пробелы и в записанном, неразборчивы некоторые упоминаемые фамилии: уж больно несовершенна была тогда наша техника. Мы думали, что у нас будет время восстановить утраченное, уточнить неясное, но вышло по-иному. Времена менялись, массовые репрессии 30-х — 40-х годов снова стали замалчиваться. М. В. болезненно переживал эти перемены, соединявшиеся с неудачами его профессиональной карьеры. Ему казалось, что он сам никого не интересуется, а уж его рассказы о прошлом и подавно, он утратил к ним интерес. Наши «сеансы звукозаписи» прервались. Потому ничего и не сказано о втором аресте. Он не то, чтобы не успел о нем рассказать, — пропало желание. Закончилась хрущевская оттепель, небо как-то снова нахмурилось. «Если так и дальше пойдет, я буду бояться рассказывать», сказал он однажды.

В конце 80-х годов, когда М. В. уже не было в живых, стала возможна публикация его воспоминаний. Она намечалась в ежеквартальнике одного московского академического института. Я был заместителем главного редактора ежеквартальника и ответственным редактором того выпуска, в котором и должны были быть опублико-

ваны воспоминания. Готовя их к печати я подверг подлинный текст, существующий в магнитофонной записи, лишь некоторому литературному редактированию — ведь в оригинале это направленная устная речь, иногда — ответы на вопросы, которые я задавал по ходу дела. Были сделаны также небольшие сокращения. Каково же было мое удивление, когда получив окончательно подготовленный к публикации текст, я обнаружил в нем многочисленные купюры, причем имеющие вполне определенную направленность. Цензуры в это время уже не было, купюры были сделаны внутренним идеологическим цензором главного редактора ежеквартальника Н. М. Римашевской. О том, что произошло дальше, говорится в письме, которое я направил ей впоследствии. В нем я, в частности, писал:

«В представленном мною для издания тексте без согласования со мною, более того, вопреки моим настояниям, были сделаны многочисленные купюры. Я, ответственный редактор сборника, обнаружил купюры опять-таки случайно, просматривая подготовленную к публикации рукопись сборника; они были сделаны тайком, после того, как я закончил редактирование [...] лично Вами. Вы подтвердили это в разговоре со мною, сказав, что исключили из текста то, что не представляет интереса для читателя. В конце концов, мы сошлись на том, чтобы передать этот вопрос на решение редколлегии. Три члена редколлегии по Вашему выбору — А. Г. Волков, А. Я. Кваша и С. И. Пирожков — ознакомились со сделанными Вами сокращениями, и все трое высказались за публикацию текста в его первоначальном виде. Я оказался настолько наивным, что счел вопрос решенным. И вот сборник перед нами. Ни одно вычеркнутое место не восстановлено, зато добавилось лживое примечание о моей ответственности за 'аутентичность фактического материала'.

А теперь о самом главном. **Что** Вы вычеркнули, **что** пало жертвой Вашей правки... Вы, конечно, не могли полностью исключить из текста всего страшного, из чего складывалась жизнь в сталинских тюрьмах и лагерях, — тогда пришлось бы вовсе отказаться от публикации воспоминаний Курмана, а это не соответствовало настроениям момента. Но вы сделали все, чтобы ослабить это страшное, и вам это удалось. Когда читаешь опубликованный текст, временами и тюрьма, и лагерь приобретают почти респектабельный вид. Там читают книги, ведут беседы, проводят собрания — это все Вы оставили. А вот пытки, издевательства, унижения, доведение людей до безумия — это Вы везде, где смогли, убрали. Изъятые Вами фрагменты текста прилагаются к этому письму, целенаправленный отбор их мне кажется очевидным.

Михаил Вениаминович Курман был не святой, как и все мы. У него были свои заблуждения, от части из них он освободился, некоторые пронес через всю жизнь. Но считать, что он не видел и не понимал всего кошмара гуглаговской машины, отнявшей у него 18 лет жизни, создавать впечатление, что он ее приукрашивал, — значит оскорблять его память. Именно это Вы и делаете, препарировав его воспоминания и выдавая кастрированный Вами текст за аутентичный.

Для чего это Вам нужно? Об этом можно только догадываться. Подстраховка? Скрытая ностальгия по былым временам? Равнодушие? Нежелание

видеть неприятные стороны жизни? Да так ли это важно? [...] Для нас ведь главное, чтобы ничего не менялось. Нам вчера было хорошо, и сегодня неплохо, так бы и оставалось. А начнешь разоблачать, так неизвестно до чего доразоблачаешься.

Я, Наталья Михайловна, Вам не судья. Если у Вас у самой с собственной совестью нет никаких проблем, то и хорошо.

Но в том, что касается других людей, Вы обязаны, думается мне, держаться общепринятых правил. Поэтому я прошу Вас:

а) обсудить это письмо на заседании редколлегии Ежеквартальника в моем присутствии;

б) опубликовать исключенные Вами места из воспоминаний М. В. Курмана в одном из следующих выпусков;

в) публично, в печати признать, что купюры в воспоминаниях М. В. Курмана были сделаны в обход меня как публикатора и ответственного редактора сборника и против моей воли.»

Общество наше, повторю еще раз, не знало покаяния. Никакой реакции на это письмо не последовало.

Сейчас воспоминания М. В. Курмана публикуются в их первоначальном виде без каких бы то ни было купюр и сокращений.

Moscou, 1992

ВОСПОМИНАНИЯ М. В. КУРМАНА

Это случилось в ночь с 21 на 22 марта 1937 года. Вошли три человека, одетые в гражданское, но под пальто были видны мундиры... Они очень схватились за литературу, которая была у меня на столе. На столе лежали курс лекций, которые я прочитал начальникам отделов статистики населения Советского Союза, и книга, которую я писал тогда для Соцэкгиза, *Динамика населения России и СССР*. Один из них долго сидел и перелистывал, делая какие-то заметки. Затем все это было забрано, о чем составили протокол. Попутно были изъяты *Курс исторического материализма* Бухарина, стенографические отчеты XIV и XVI съездов партии и, кажется, XIV и XV партконференций, *Политическая экономия рантье* Бухарина.

Он меня спросил: «Зачем вы у себя храните контрреволюционную литературу?» Я говорю: «Во-первых, эта литература издана Соцэкгизом. А во-вторых, вы видите, что как раз книжка *Исторический материализм* Бухарина даже не разрезана». — «Тем более» — говорит он.

Я попрощался с семьей... У дверей стояла какая-то шикарная машина, и мы сели.

Мне потом приходилось на многих машинах ездить. Вся тогдашняя публика не знала, а мы тогда уже получили большой опыт мимикрии, которая применялась и в этом. В большинстве это были машины арестантского типа. Такая машина состоит из нескольких кабинок-одиночек, и, кроме того, две скамьи стоят по бокам, и там сидят арестованные. Конечно, машина зарешечена. Внешне по ней вы ничего не определите, на ней написано либо «хлеб», либо — чаще всего — «мясо». Может быть символически — это имело смысл. Это с умыслом делалось, арестантских машин надо было очень много. Еще до моего ареста циркулировали всякие слухи о «черном вороне», который по ночам приходит и забирает людей, но я как ортодоксальный коммунист смеялся над этим...

Сел я в машину, мы поехали. Приехали в Лубянку. Подвезли нас не к парадной лестнице, а к какой-то боковой — там переулочек есть

такой, сзади. Подвезли, и мы всякими ходами-переходами попали в помещение в подвальном этаже, где меня приветствовали находившиеся там человек пятнадцать: «Здравствуйте, вот еще один житель нашего собачника». Оказывается — это предварилка с веселым названием «собачник». В «собачнике» я пробыл одну ночь. Но я уже там услышал много интересных вещей.

Например, мне рассказали, что сейчас на Лубянке находится Айхенвальд. Это был очень известный человек, экономист так называемой «школы Бухарина», который ранее был осужден. А сейчас он был снова возвращен в Москву для пересмотра дела. Но не в сторону смягчения, естественно.

Прошла первая ночь, конечно, без сна, потому что я никак не мог понять, за что меня взяли. Я еще мог понять, за что других взяли. Айхенвальда — я знал примерно, за что его могли взять. Но я-то ни в чем не виноват!

Наутро меня перевели в камеру на третьем этаже. Тогда меня буквально изумил четкий порядок, которого я никак не ожидал. Например, конвойные никогда не разговаривали друг с другом, а пользовались условными знаками. Когда один из них проходил поворот коридора, он щелкал пальцами или стучал себя по пряжке, чтобы другой конвойный знал, что он — с заключенным. Если появлялся вдали другой заключенный, то немедленно или меня, или его ставили лицом к стене, чтобы сделать невозможным контакт. На деле, как выяснилось, из этого ничего путного не получалось. Уже потом, будучи в Бутырской тюрьме, я оказался в камере, в которой одновременно находились отец и сын, причем пока спохватились, что они однодельцы и что их никак нельзя помещать в одну камеру, прошло по крайней мере часа четыре, они, конечно, успели обо всем поговорить и договориться.

Меня подвели к двери, и перед входом в камеру конвойный меня спросил:

— «Вы курящий?»

Я тогда не курил, но, на всякий случай, сказал: «Курящий». Это оказалось очень кстати, потому что мои товарищи по камере очень нуждались в куреве. Им нас снабжал Красный крест. Как мне объяснили, там работала Екатерина Пешкова — жена Максима Горького — она занималась помощью политическим заключенным. Но что она могла сделать? Разве что обеспечить их куревом. По некоторым вопросам она выступала с ходатайствами, но мне не пришлось к ней обращаться.

Я зашел в камеру. И сейчас помню всех присутствующих. По их составу вы примерно определите общий состав Лубянской тюрьмы. Что это был за народ?

Во-первых, был Доценко Михаил Николаевич. Кончил Институт Красной профессуры. До этого он был заместителем заведующего отделом агитации и пропаганды Ленинградского обкома партии. Ну, его дело, ясно, связано с делом ленинградской оппозиции. Кроме

того, он по специальности юрист-правовик, а тогда вся школа советских правоведов была арестована, во главе с Пашуканисом.

Второй был [фамилия неразборчива]. Он был в военном костюме со следами знаков различия, на петлицах — два ромба. В прошлом, по его словам, начальник иностранного отдела — как я понимаю, отдела военразведки — штаба ВВС. В партии — с 1915 года. Он нам говорил, что вступил в партию одновременно с Кнориным. Правда, когда он рассказывал, он не знал, что Кнорин тоже арестован. Этот человек добился, что его принимал Ежов лично. А тогда Ежов был вторым человеком в стране.

Третий — Хандриков. Очень интересный человек, тоже военный, бригадный инженер, строитель. Такая историческая деталь: он руководил в Москве ликвидацией храма Христа-Спасителя. Был комиссаром Перекопской дивизии в момент взятия Перекопа. Из рабочих, сам кадровый рабочий, коммунист, по-моему, с 17-го года. Потом пошел учиться. Ну а потом... также, как и все прочие.

Четвертый был человек уникально несимпатичный, фамилии его я не помню. Он долгие годы жил в Германии. Я только заметил его крайний антисемитизм. Когда он говорил по-немецки, я пытался вставить слово и сказал: *was?* Он мне сказал: «Чесноком разит». Потому что немцы, как он мне объяснял раздраженно, не говорят в таких случаях *was*, а говорят *wie*.

Затем, на моих глазах, — я там пробыл не долго, месяца полтора — состав камеры стал меняться. Однажды к нам привели человека по фамилии Шуб, который был секретарем партийной организации ПУРа, Политуправления республики. Это было после ареста Тухачевского, в те дни, когда Гамарник застрелился. О себе он почти ничего не рассказывал, но я видел у него на спине [неразборчиво]. Затем привели Бжезовского. Он заведовал подпольной техникой польской компартии. Его тоже сильно избивали. Вообще мы друг другу подробно ничего не рассказывали о своих делах, не очень-то мы все-таки доверяли друг другу. Но кое-что скрыть было нельзя. Просачивались всякие слухи. В камере были люди, которых куда-то увозили, возвращаясь, они говорили, что сидят Бухарин, Бубнов и другие.

В камере в свободные часы очень много читали, библиотека там была неплохая. Мы уже воспринимали литературу под определенным углом зрения. Однажды мне попался рассказ Марка Твена о шпиономанах. Мы его все читали и захлебывались. Нам казалось непонятным, как следователи дали нам книгу, которая явно их высмеивала. Были и вещи совершенно неожиданные. Мы занимались гаданием. Меня научил кто-то гадать на спичках: какова будет твоя судьба, что тебе скажет следователь, как скоро кончится следствие, какой у тебя будет срок. Эта несложная манипуляция, как ни странно, увлекала людей. Приходили ко мне товарищи, все они были люди весьма культурные, старые коммунисты. В частности, Хандриков приходил: «А ну погадай мне, Миша». Я гадал, он

посмеивался, но я видел, что он прислушивается к тому, что говорят спички.

Однажды Хандриков (он носил бородку) говорит: надо побриться. Почему? Он сначала молчал, а потом признался, что его следователь дергал за бороду.

22 марта меня арестовали, а 27 мая был день рождения моей дочери, ей исполнился год. Когда меня арестовали ей не было и 10 месяцев. Мы в камере отметили эту годовщину. К тому времени мы уже достаточно повзрослели, чтобы понимать, что отсюда на свободу никто не выходит, самое большее, что мне могли пожелать, это через 3 года вернуться домой. Было небольшое угощение: мы получали денежные передачи и могли покупать немного в тюремной лавочке. Передач материальных не было — только денежные. Я мог получить 40 рублей в месяц, но и их не получал, потому что моя жена осталась без всяких средств, она мне передавала не то 10, не то 15 рублей.

Как проходило следствие? Когда меня в первый раз привели к следователю (это он производил у меня обыск), я вначале подошел к столу, сел на стул и был крайне удивлен, когда он мне велел встать и уйти в угол комнаты, где стоял пригвожденный к полу табурет. Оказывается, перед следователем нельзя сидеть свободно, надо находиться на расстоянии достаточно почтеном, держать руки на коленях и вообще не слишком шевелиться. Первый разговор был примерно такой. Вы молодой коммунист, советский человек. Понимаете, в какое мы сейчас живем время. Вы слышали и читали про роль Зиновьева, про дело Пятакова, Бухарина, конечно, понимаете, что враги народа развили бешеную деятельность, чтобы свести на нет все успехи Советского государства. Оказалось так, что и вы, хотели вы этого или нет, объективно помогали им. Мы разберемся, конечно, в чем ваша субъективная вина, но сейчас дело не в этом. Мы к вам обращаемся, как к советскому человеку, как к старому комсомольцу, кандидату партии с тем, чтобы вы, независимо от своей собственной вины, помогли нам распутать узел провокаций и вредительства, которые имеются в вашем учреждении. Тут стали называться фамилии людей, которые либо были выходцами из других партий, либо когда-либо принимали участие в оппозиции. Я сказал: «Позвольте, но ведь все эти люди назначены правительством, утверждены Центральным комитетом партии, все они сейчас коммунисты, значит им доверяют?» Он мне ответил: «И в правительстве, и в ЦК партии, в других органах бывают враги, которые просочились и отсюда вредят. Мы разберемся и там. Ваше дело — помочь нам в их выявлении». Я сказал, что мне ничего неизвестно ни о каких вредительских делах.

В такой, казалось бы, относительно благожелательной форме, прошло наше первое собеседование. Ничего не протоколировалось. К чему я все это рассказываю? Чтобы вы поняли: с самого начала следствию было ясно, что за мной никакой вины нет, потому что

иначе весь этот разговор о советском человеке и все прочее не велся бы. С самого начала была установка на то, чтобы, используя мое безграничное доверие к советской власти и к органам следствия, создать какое-нибудь дело. Если бы я был тогда немножечко опытнее, то, вероятно, дело бы пошло иначе. Но я рассказываю, как дело было на самом деле. Я считал эти органы непогрешимыми, вне всякой критики, вне всякого подозрения.

Следующее собеседование было, примерно, через неделю. Началось оно с того, что мне сказали: «Мы все-таки считаем, что вы должны нам помочь. Вот вам бумага, вот карандаш, напишите все, что вы знаете о вашем учреждении».

Я написал, что считаю данные ЦУНХУ недостаточно точными, некоторые показатели выводятся на основании не вполне надежных исходных данных, не очень хорошо поставлен первичный учет, бывают опоздания с отчетностью. Писал долго и был уверен, что это то, что нужно. Когда я кончил, в кабинете был еще один человек — потом выяснилось, что он, собственно говоря, и есть главный следователь. Его фамилия была Иванов, а мой первый следователь был только его помощником. Этот Иванов, начальник отделения, и вел мое дело и вообще все дело ЦУНХУ. Потом пришел еще начальник отдела, некто Улов [?], страшный человек с каким-то очень оригинальным, разросшимся вширь черепом. Они мне вернули все со смехом:

— Что вы тут написали для стенгазеты? Вы напишите нам про вредителей, про контрреволюционные организации, про троцкистско-бухаринский сговор у вас!

Естественно, что я ничего на эту тему не мог написать, и тогда они написали сами. Собственно, у них все уже было написано. Когда я прочитал, у меня глаза на лоб полезли. Я должен был подписать, что мне известно, будто в ЦУНХУ действует контрреволюционная право-троцкистская организация, которая поставила своей целью свержение Советской власти, экономическое вредительство и т.д.

Я категорически отказался подписывать это, мне и в голову не приходило что-нибудь подобное. Ничего подобного, конечно, и не было. И тогда началось «следствие» на самом деле.

По закону, одновременно можно держать последственного на допросе не больше восьми часов. Затем полагается его обязательно отвести в камеру, сделать перерыв. Меня держали в этот раз 36 часов без перерыва. При этом в журнале привода и увода из внутренней тюрьмы к следователю была его расписка 5 раз, что он меня брал, отводил, опять брал, опять отводил. Все это делалось при мне, они же не рассчитывали, что я когда-нибудь выйду и все это вспомню. Это были страшные 36 часов. Я сидел, и следователь сидел. Арсенал его действий был очень разнообразным. Он меня не бил. Но он употреблял все средства от улещивания, уговаривания, обволакивания до угроз, издевательств. Например, я перед самым арестом получил от учреждения несколько тысяч рублей. Человек,

уехавший на работу в Монголию, уступил мне свою квартиру в жилкооповском доме на 3 года, это стоило, кажется, 5 тысяч рублей, и ЦУХНУ мне дало эти деньги. Теперь это было квалифицировано как плата за участие в контрреволюционной организации. Иванов говорил мне: «Интересно, как вы получили эти 5 тысяч? Если сотнями, то это немного, если рублями, так это же целая груда иудиных денег». Такой был план разговора.

Следователь, конечно, не сидел 36 часов. Следователи менялись. Уходит один, приходит другой. Он сидит, дремлет, потом просыпается, курит, начинает свистеть: «Отцвели уж давно хризантемы в саду». Это был любимый романс Иванова. Очень кстати, конечно, такой лирический романс к такому делу. А ты сидишь, ты не можешь ни курить, ни петь песни. Довели они меня тогда до того, что мне вдруг стало чудиться, будто на стене какие-то чертики, гномики бегают. Вот я вижу бороду, вижу глаза, какие-то движения. Это же не шутка — допрос 36 часов подряд. В уборную сходить — с тобой идет следователь, открываешь дверь в кабину — он наблюдает за всеми твоими движениями. Есть мне не хотелось, да если бы и захотелось, они бы не дали. Дело кончилось обмороком. Позвали врача, врач меня привел в чувство и сказал, что можно продолжать допрос. На этот раз я не подписал ничего.

После того, как меня привели в камеру, я несколько дней отдыхал. И тут уж в камере я наслышался, какие бывают способы допроса: гусиный шаг (это когда человека все время заставляют на корточках прыгать), или сидение на самом кончике табуретки в течение долгих часов, или стояние в течение нескольких суток, так что ноги деревенеют, наливаются, или избивание резиновым шлангом, который не оставляет следов, и тому подобные прелести. К этому времени, примерно, относится, по моим сведениям, введение Ежовым системы допросов различной степени — первой, второй и третьей. Тогда же появляются козырьки на окнах: недостаточно того, что стекла зарешечены; на окна надевают козырек, который книзу заужен, а сверху расширен, свет падает сверху откуда-то, и никогда полного света нет.

Не помню, сколько времени я отдыхал, потом меня опять взяли, опять допрос. Очень длительный, не то тоже 36 часов, не то около того. Я долго спорил, кое-что вычеркнул, например, слова «мне известно». Но все-таки они меня заставили подписать, я не могу врать. Мне это крайне неприятно, я не знаю, сильно ли я виноват или нет, но так получилось. Правда, ни одного человека я там не назвал или, как мы тогда говорили, не «завербовал». Когда я вернулся в камеру, — это было ночью — было настроение до того тяжелое, что я попытался покончить с собой. Кстати говоря, порядок был такой, что почти всегда вызывали на следствие, на допрос ночью — ну это, очевидно, опять-таки с целью психического воздействия. Все уже спали, я подошел к своей койке. У нее была такая поднимающаяся, передвигающаяся головка: железная койка с откидной головкой. Я

привязал полотенце одним концом за шею, другим концом — за эту откидную головку и решил, что я сброшу головку, затянет шею — и будет кончено. В это время тихо открылась дверь, вошел караульный, отобрал у меня мое полотенце и казенное полотенце, очевидно, доложил по начальству, и наутро меня отправили из этой камеры, где было сравнительно мало людей, в Бутырскую тюрьму, в большую камеру, где было в первое время человек 60, а потом больше ста.

Там оказался совсем другой строй жизни. Когда меня ввели в камеру, я был совершенно поражен. Это была уже, примерно, середина июня 1937 года. Стоит, ходит, лежит огромное количество людей — кто в кальсонах, кто в рубашке и кальсонах, кто в брюках, небритые, всклоченные. И идет какое-то собрание. На нарах стоит человек и говорит: «Кто за — прошу поднять руку». Честное слово, я решил, что попал в сумасшедший дом. Тюрма — и общее собрание, избрание каких-то кандидатов, какое-то голосование. Я стоял совершенно ошарашенный. Но тут подошел человек и говорит: «Ничего, успокойтесь, идите полежите». Сразу меня обступили все, но этот человек — он оказался культторгом камеры — сказал: «Не трогайте товарища, дайте ему прийти в себя».

Я полежал на нарах, на чьей-то постели, так с часик, за это время только он ко мне подходил. Он спросил меня: «Вы курите? У вас есть сахар, а то мы можем дать?» Объяснил, что на собрании выбрали лавочную комиссию. Мне это было дико, но потом я понял, что она играет большую роль в жизни заключенных.

Через час, когда кончилось собрание и я пришел в себя, культторг объявил, что вновь прибывший расскажет о том, что делается на воле. Потом он обратился ко мне:

— Вы не бойтесь, не думайте, что все кругом враги, а вы один — честный. Вы увидите, что тут не все — враги, и даже, может быть, все — не враги. Но в общем я сейчас вам ничего не навязываю и вы сами разберетесь, что к чему.

— Что же я буду рассказывать? Я уже три месяца как в заключении.

— Вы три месяца, а тут есть люди, которые сидят по полтора года. У нас такой порядок. Каждый приходящий обязан рассказывать все, что ему известно.

Я стал рассказывать, и оказалось, что мои газетные сведения, по моим представлениям, достаточно устарелые, для них были новинкой. Очень интересовались положением дел в Испании — тогда шла борьба за республиканскую Испанию. Очень интересовались, конечно, тем, кого арестовали, кого выпустили, — ну, выпускать никого не выпускали. Потом стали спрашивать о чем угодно. Там сидел врач, доктор Левин, ассистент Плетнева — вы, наверно помните эту историю с Горьким? Он меня спросил: «Скажите, пожалуйста, а шоколадные торты продают?» Я все, что мог, рассказал, но, видимо, не удовлетворил народ, потому что я все-таки боялся.

Мне все-таки казалось, что я один тут — честный. Ну, может быть, некоторая часть попала случайно, но в основном, конечно, враги. Они не были удовлетворены, но не очень ко мне приставали.

После этого началась укладка на ночь. Вот где вопрос решался совершенно демократично. Независимо от положения, — а положение, кстати, у всех было одинаковое, ведь все были заключенные — все были в одинаковых условиях. Место определялось только по стажу. Кто больше всех сидел, тот имел право на лучшее место — на нарах у окна. Почетным местом были нары. Затем столы. Затем — «самолеты»: крышки столов снимали и настилали между нарами. Наконец, под нарами и у параша. Потом стало так тесно, что приходилось ночью поворачиваться по команде, потому что никто не мог лежать на спине. Я, естественно, как новичок попал на пол, у самого порога, у параша. Что такое параша? Вы, наверное, из литературы знаете, но это вы плохо знаете. Потому что параша в одиночной камере — это пустяки. А параша в камере, где находится 60, а потом 100 человек, — это огромная бочка, в которую поступает «материал» в течение круглых суток. Выводят-то людей только два раза в день, а остальное время здесь все надо делать. Кстати: первый раз заставить себя отправлять естественные функции в присутствии других людей — страшно тяжело. Вот попробуйте когда-нибудь в присутствии других людей сесть на... Ну, ладно.

Распорядок дня. Утром в 6 часов подъем, всех выводят в уборную и на умывание. Для камеры в 100 человек это продолжается максимум полчаса. Конечно, не все успевали, особенно умыться не успевали. Однажды, ожидая своей очереди, я упал в беспамятстве. Тогда это было впервые в моей жизни, а с тех пор не прекращается — спазмы сосудов головного мозга.

Затем — еда. Пайка хлеба и баланда. Кто был похитрее, поумнее, половчее, тот устраивался к врачу и получал вместо черного белый хлеб. Кто не отличался этими качествами, ел черный. Кстати говоря, хлеб в Бутырской тюрьме был изумительно вкусный. То ли он был очень вкусный, потому что мы голодные были, то ли он на самом деле был очень вкусный — я ни до этого, мне кажется, ни после не ел такого вкусного хлеба. Чего нельзя сказать о баланде. Баланда — это что-то страшное. Первые несколько дней я вообще ничего не мог взять в рот. В значительной мере это объясняется волнениями, но также и вонью, которой от нее несло. Я удивился, как это некоторые съедают свою порцию и еще просят добавки. До этого — на Лубянке — кормили хорошо. Там однажды был случай, когда в супе попался червяк. Мы вызвали корпусного, и нам заменили всем. На Лубянке все было *lege artis*, все, как полагается, — внешне во всяком случае. А здесь это было совершенно неудобоваримо. Тем не менее были добровольцы, которые выносили все время парашу и за это получали остатки котла. Скоро и я научился есть эту баланду, потому что иначе нельзя было жить.

Очень интересно — баня. Белья не давали. Никому. Никакого. То, что у нас было, мы стирали в бане. Я никогда до этого не стирал. Тут я научился стирать, но вскоре у меня осталась только одна рубаша, остальное я достирал до конца. Баня вообще была для нас очень важным местом. Это был пункт, где передавали друг другу все новости. Кто сколько получил, кого арестовали, что происходит на воле.

Таким же местом, хотя в меньшей степени, была и уборная. Там тоже оставляли в коробочках всякие записочки. Это было чрезвычайно трудно, потому что у нас отбирали все письменные принадлежности. Всякая бумага, всякий карандаш — все это тщательно отбиралось. Проверялось и отбиралось. Тем не менее некоторые ухитрялись проносить, иногда даже у самого следователя утаскивать со стола карандаш или бумагу. И вот через баню и через уборную, особенно через баню, мы передавали все новости. И конвой не всегда и даже не очень часто находил это — я думаю, в значительной мере потому, что не очень и искали.

Чем мы занимались целый день? Когда не на допросе, не в бане, не на прогулке, то либо читали (там была чудесная библиотека), либо друг с другом беседовали, либо рассказывали сказки. На ночь после отбоя ложились на свои места, и очередной романист начинал рассказывать. Наиболее любимые романы: *Три мушкетера*, *Граф Монте-Кристо*. Иногда это получалось сочетание всех известных и неизвестных романов. Рассказ тянулся иногда всю ночь, только прерывался вызовом кого-нибудь на допрос. Открывается дверь и надзиратель кричит: «На букву к! Ковалев — нет, Константинов — нет, Курман — собирайся!» Или «собирайся с вещами!». «Собирайся с вещами» означало, что куда-то переводят — в другую камеру, в другую тюрьму либо в другой город. Если просто «собирайся», значит на допрос. Но иногда нас обхитряли. Говорили «собирайся», ты был уверен, что идешь на допрос, потом тебя усаживали в машину, куда-то увозили, а надзиратель потом приходил и говорил: «соберите его вещи».

Помню, лежали мы все, и рассказывал нам что-то Зазубрин* — довольно известный тогда сибирский писатель, автор романов *Два мира*, *Горы*, друг Горького. И вот в самый момент его рассказа открывается дверь: «На букву з — Зазубрин!»

Его увели. А так как его обвиняли в серьезных вещах, в попытке свергнуть советскую власть в Сибири, то, думаю, это дело добром не кончилось.

Здесь был не такой отборный народ, как на Лубянке, но тоже было много интересных людей. Больше всего — относительно — было немцев, латышей и поляков. Особенно много — поляков. Как раз в это время в тюрьме сидели Ланчутский, Домбаль и другие

* Псевдоним писателя Владимира Яковлевича Зубцова (1895-1938) — А. В.

руководители коммунистической партии Польши. Я уже на Лубянке застал Бжезовского, потом встретил еще кое-кого из поляков. А здесь было целое «польское коло», как они говорили. Их всех оптом арестовали немножко позже, в 1938 г. Вся польская партия была распущена и объявлена засоренной. Много было латышей — очевидно, это было связано с тем, что к этому времени были арестованы Эйхе, Рудзутак, Кнорин, Берзин и другие видные коммунисты-латыши. Ну и естественно — или в это время неестественно? — было очень много немцев. Все они были коммунисты, конечно, но, с точки зрения НКВД, они все были шпионы.

В одной из камер Бутырской тюрьмы тогда сидел Ян Рудзутак. В другой — Мендель Хатаевич. Я не знаю, где именно они сидели, но я говорил с людьми, которые были вместе с ними, значит, сидели не в одиночках.

Вы знаете, кто такой Мендель Хатаевич? О Яне Рудзутаке, вы знаете, конечно. А Мендель Хатаевич был исключительный человек. Он был секретарем Днепропетровского обкома партии, затем он был секретарем ЦК Украины. Человек, которого называли совестью партии. Рабочий, еврей, он пользовался таким доверием колхозников, что они так и говорили: наш Мендель. Ну, это ведь не так просто: еврею завоевать доверие украинского колхозника, украинского крестьянина при наличии тех предрассудков, которые имели тогда место — и сейчас имеют. Это не так просто было. Это был исключительно скромный, исключительно честный коммунист. Я не знаю, так ли это, но, по слухам, Хатаевич кончил жизнь самоубийством в Бутырской тюрьме*.

Был там и мой бывший начальник по ЦУНХУ Краваль. Мне об этом говорил Борис Троицкий, в прошлом член президиума Госплана СССР, его личный друг. Он же мне рассказал всю историю с моей запиской на имя Сталина, Молотова и Кагановича. Мы с Троицким сидели в одной камере в Бутырской тюрьме, там он мне все это и рассказывал.

Однажды к нам в камеру попал человек уже из лагеря. Некто Ладоха. Он был арестован в 1934 г. в связи с делом Зиновьева. Тоже окончил институт Красной профессуры. Теперь он пробыл несколько лет в лагере, и у него было резко отрицательное отношение к Сталину и ко всем тогдашним работникам органов. И вот в

* 2 ноября 1992 г. в газете *Вечерняя Москва*, в очередной публикации «расстрельных списков» жертв сталинских репрессий, похороненных на Донском кладбище в Москве, имеется следующая справка. «Хатаевич Мендель Маркович, род. в 1893 г. в г. Гомеле, еврей, член ВКП (б), образование низшее, 2-й секретарь ЦК КП (б) Украины, прож.: г. Киев, ул. Кирова (г. Москва, гост. «Националь», д. 11/17, кв. 123). Арест. 9 июля 1937 г., расстр. 30 октября 1937 г.»

М. Хатаевич был одним из высших руководителей Украины, ответственных за голод 1933 г. — А. В.

связи с его приездом сразу стало ясно, какие у нас имеются группы людей по настроению в камере. С одной стороны, группа ортодоксов, коммунистов, которые считали, что все, что делается, — правильно, что партии нужно это, что, может быть, мы лично страдаем, но это для блага Родины. Во главе группы стоял Троицкий — по положению, по прежней должности. И я примыкал к ним, и другие. Например, Ваттола.

У Тихонова есть книжка *Кочевники*. Там упоминается Ваттола, Тихонов говорит о нем в восторженных тонах. Виктор-Эммануил Ваттола*. Он был немец, точнее метис. Отец у него был итальянец, мать — немка, но он больше считал себя немцем. Когда-то он был одним из руководителей Финской республики, в последнее время — наркомом просвещения Республики немцев Поволжья. У него было уже состояние дистрофии, он еле ходил, когда я с ним встретился. Но он был таким ортодоксом.

С другой стороны, была группа товарищей, которые резко отрицательно относились к тому, что делается, и между нами происходили жестокие ссоры. До настоящих потасовок. Как я сейчас понимаю, мы были не правы. Тогда же нам казалось, что мы и в тюрьме защищаем дело партии.

Нам разрешалось два раза в месяц покупать продукты в тюремной лавочке. Но не так, чтобы каждый покупал индивидуально то, что ему нравится. Это невозможно, когда в камере 100-150 человек. Поэтому выбиралась лавочная комиссия, человек 10-12-15. Ее функции были не столько в том, чтобы отобрать товары, сколько в том, чтобы их принести. В первый день все обсуждали прејскурант. Для этой цели давались специально грифельные доски. На них заносились те товары, которые отбирались. Допустим, в лавочке имеется пять сортов конфет — все обсуждают и решают, что берем два сорта. Сахар, масло или маргарин, белый хлеб и т.д. В конце концов устанавливается список товаров, допустим, 15-17 наименований. Все это записывается на грифельных скрижалях и относится тюремному начальству для утверждения. Затем назначается день, когда лавочная комиссия уходит за товаром в тюремную лавочку, конечно, под охраной конвойных. Если у человека нет денег, ему помогает подпольный комитет бедноты. Какая-то часть денег выделяется для неимущих. При этом, если человеку не доверяли в камере, считали, что он кого-то оболгал, оклеветал или

* Ему действительно посвящено несколько страниц в книге Н. Тихонова *Кочевники* о Туркмении. В частности, там говорится: «Берлинец Ваттола с итальянской живостью и немецким упорством внедряет социализм в труднейший округ этой страны — Красноводский.» «Ваттола состоял секретарем райкома... Мать из Милана, отец из Берлина (у Курмана — наоборот: отец — итальянец, мать — немка). Сам он попал в плен в Россию и десять лет работал в революции». (Н. Тихонов, *Собр. соч. в 7 томах*, 2, сс. 40, 63). — А. В.

вообще ведет себя неправильно, то высшим наказанием был отказ в приеме у него денег для комбеда. Если у кого-нибудь отказывались взять деньги для товарищей, на коленях мог просить, чтобы взяли, — не брали.

Потом идут в лавочку и приносят огромные кули с продуктами. Все раскладывается на столе и близлежащих нарах. Затем идет количественный расчет. Допустим, 15 кг сахара: подсчитывается, сколько там кусков и устанавливается, сколько их в 100 граммах. Затем по-солдатски выкрикивается: «кому?» — и раздается. Это было занятие на несколько дней: день отбора, день раздачи, день обсуждения.

И вот однажды, как раз после лавочки, после получения пайка, меня вызвали в суд.

Арестовали меня 22 марта, а осудили примерно через полгода, 29 сентября. Это осуждение последовало сразу же за опубликованием в печати решения правительства, которое признало перепись населения 1937 года вредительской. Через два дня состоялся суд, где я и узнал подробно, в чем же меня обвиняют.

Первый пункт обвинения звучал очень грозно. Я обвинялся в том, что распространял клеветнические инсинуации по адресу вождя партии товарища Сталина, утверждал, будто бы он фальсифицировал данные о численности населения на XVII съезде партии. В чем было дело?

Последние более или менее известные данные о численности населения СССР относятся к концу 1931 года. Что же касается двух последующих лет — 1932 и 1933, то для них был характерен очень большой неурожай на значительной территории Советского Союза — на Украине, в Центральной Черноземной области, на Кубани, в Поволжье. В результате естественный прирост за эти годы был крайне мал, а в отдельных случаях оказался даже отрицательным. В таких условиях мы в тогдашнем ЦУХНУ закрыли все данные о населении, объявили их запретными. Последняя цифра, которая была опубликована, относится к 1 января 1933 года. После этого никаких данных не публиковали, но для себя вели счет. Каково же было наше удивление, когда на XVII съезде партии Сталиным была названа цифра населения, которая расходилась в сторону завышения против нашего исчисления миллионов на восемь. По моему настоянию, тогдашний начальник отдела статистики населения и здравоохранения венгерский эмигрант Сикра обратился к тогдашнему начальнику ЦУНХУ Осинскому с вопросом, откуда Сталин взял цифру населения, названную на съезде. Мне потом говорили, что Осинский имел разговор со Сталиным на эту тему, и Сталин ответил, что сам знает, какую цифру ему называть. Правда, в печатном тексте численность населения была уменьшена на миллион против устного выступления Сталина. Тем не менее она была сильно завышена. И вот мое, так сказать, профессиональное выступление по поводу правильности цифры было квалифицировано следствием как клевет-

ническая инсинуация по адресу вождя партии, приписывание ему фальсификации цифры населения на партийном съезде.

Второе обвинение было не менее интересным. После того, как были получены первые итоги переписи населения 1937 года, естественно, обнаружился значительный разрыв с той цифрой, которую следовало ожидать, судя по выступлению Сталина на XVII съезде партии. Тогда и предложили мне как руководителю статистики населения СССР дать объяснение по поводу расхождения между данными текущей статистики и переписи. Я долго отказывался, но меня все же заставили такой документ подписать. Его подписали Краваль — к этому времени начальник ЦУХНУ — и я как заместитель начальника отдела статистики населения и здравоохранения, руководитель статистики населения.

В этом документе я написал, что перепись населения — точная операция, максимальная ошибка может оцениваться, примерно, в один процент. Это составляет для Советского Союза примерно 1,7-1,8 млн. человек. Что касается остального расхождения, то оно, по-видимому, может быть отнесено за счет того, что текущая статистика не имеет ряда данных. Ну, например, написал я в этом документе, — кстати говоря, он был помечен специальными литерами и направлен в адрес только руководящей группы правительства и партии, — у нас совершенно нет данных о смертности в лагерях. Далее указывалось, что у нас нет данных об уходе населения из восточных районов страны — из Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана — вместе со скотом в Персию и Афганистан*.

Вот эти мысли, эти два высказывания были квалифицированы как сугубо контрреволюционные, как клевета на органы, — будто в лагерях у нас никто не умирал, и только враг народа мог придумать такие объяснения. Это было второе обвинение.

Все это было увязано с существованием в ЦУХНУ право-троцкистской контрреволюционной организации. Я, согласно этой версии, был членом организации и выполнял ее поручения. Мало сказать, что я был удивлен такими обвинениями. Я был поражен самой их возможностью. Но делать было нечего.

И вот в ночь накануне суда меня перевезли в Лефортовскую тюрьму. Она имела печальную славу. Именно здесь производились допросы с пристрастием, именно в этой тюрьме проходили суды военной коллегии. Меня привезли, втолкнули в каменный гроб — изолятор, в котором я сидел не то 4 часа, не то 6. У меня не было

* М. В. говорил мне, что, как он впоследствии узнал, на докладной записке о которой идет речь (на имя Сталина, Молотова и Кагановича) стояла собственноручная резолюция Сталина — в том смысле, что подобные объяснения мог дать только враг народа. Он будто бы даже видел ее в своем деле на столе у следователя. Сейчас архивы становятся более доступными, может быть найдется и документ с этой резолюцией. — А. В.

часов, и я не мог даже по свету решить, сколько времени я там сидел. Дневного света там не было.

Любопытная деталь. Солдат, который ходил мимо таких гробов, мимо таких изоляторов, спросил меня, не хочу ли я есть, принес мне хлеба, усиленную порцию еды. В общем всячески высказывал свое расположение. А затем меня повели на суд. Интересный это был суд.

Судила меня военная коллегия под председательством члена Военной коллегии Голякова — впоследствии он был председателем Верховного суда СССР. Было еще два военных — члены суда и секретарь, тоже военный. Обвинительное заключение я получил в этом самом каменном мешке, тогда я только и познакомился со всеми обвинениями. Мне дали возможность сказать несколько слов — о себе и о своем отношении к процессу, но я только было начал, не успел проговорить и минуты, как мне сказали: «Достаточно, все ясно».

Они удалились и через три минуты пришли с судебным приговором. По-видимому, он был готов заранее. Меня осудили на 10 лет тюремного заключения с последующим поражением в правах на 5 лет с конфискацией всего личного, принадлежащего мне имущества. И повели.

Любопытна была эта дорога из зала суда в камеру. Меня вели вниз по лестнице. Когда мы дошли до угла, ступеньки шли вниз, и еще какие-то ступеньки вели направо. Там стоял человек, который глазами спросил: куда? А мой конвоир показал: прямо. Направо была дорога для осужденных на смерть, я так понимаю. А может быть я ошибаюсь. В общем меня повели и привели опять в каменный мешок. Но в этот раз я был очень обрадован, потому что там оказался мой друг и одноделец Лазарь Бранд*.

О нем нужно специально и особо поговорить. Это был исключительный человек — по способностям и по личным качествам. Чистейшей души человек, честнейший комсомолец — он еще не был коммунистом. Заместитель начальника центрального Бюро переписи, фактически руководивший ее проведением, так как Квиткин осуществлял, так сказать, методологическое руководство. Он был арестован на несколько дней позже меня, но судили нас вместе. Хотя я тогда не был склонен к сентиментам, и он тоже, но мы бросились друг к другу в объятия, расцеловались и даже, кажется, немножко прослезились.

Тут опять открылась дверь, и солдат спросил — я помню точно, как он сказал: «товарищи, дать вам хлеба?» Вы должны понять: к осужденному на 10 лет обращается солдат и говорит «товарищи» — это из ряда вон выходящий случай. И еще предлагает при этом хлеба! Он нам принес две буханки. Это подчеркивает очень хорошее к нам отношение. Почему я на этом останавливаюсь? Потому что в дальнейшем я имел возможность неоднократно убеждаться в том,

* Л. С. Брандгендлер — А. В.

что население в массе своей не верило наветам, всей той клевете, которую распространяли о нас, если хотите, подлинные враги народа, оказавшиеся тогда в органах.

Хотя мы оба получили по 10 лет, хотя мы оба понимали, что это не шутка, но в этот момент мы чувствовали себя чуть ли не счастливыми.

Из Лефортова нас отправили опять в Бутырскую тюрьму, но на этот раз в пересыльную камеру, которая размещалась в бывшей Бутырской церкви. Огромнейшее помещение, где одновременно помещалось 200-250 арестантов. Здесь сидели от нескольких дней до нескольких месяцев. Режим в пересыльной камере несколько мягче, чем в следственной, это общеизвестно. И чего только не было в этой камере. Были, например, игральные карты, люди шили себе туфли и вообще изготавливали все, что угодно.

Спрашивается, откуда здесь добывали, скажем, иголки? Или ножи? Вот как это делалось. Мы помещались на третьем этаже, ходили каждый день на прогулку. Идет орава 250-300 человек. Сзади солдат-конвоир. Передний начинает расшатывать железный стержень в перилах. Каждый следующий продолжает расшатывание, а где-нибудь около сотого или полуторасотого эта палка выдерживается и прячется. На обратном пути нас не обыскивали, железный стержень попадал в камеру, там он разламывался, размельчался, превращался в ножи, в иглы... В шутку говорили, что в пересыльной камере Бутырской тюрьмы можно достать все, кроме самолета. Это было несколько преувеличено, но там и впрямь было все, что угодно. Больше получали посылок и больше книг, вообще было несколько свободнее. И самое главное, над нами не висел страх и ужас допросов.

Наконец, настал момент, когда нас вызвали на этап.

Этап, какое это слово! Сколько раз я встречал его в книгах, но понять его можно только тогда, когда сам с этим сталкиваешься. Ну, первый этап, надо сказать, был довольно приличный, потому что там были только политические заключенные. В дальнейшем этапы были смешанные, что было гораздо менее приятно. Но вот первый этап. Это было в конце 37-го года, где-то в октябре. Куда мы едем, нам, конечно, не говорили, но нас собрали всех, помыли, одели и вывели во двор. Какие-то важные чины с ромбами, со шпалами нас проводжали, и, наконец, нас посадили в столыпинский вагон.

Изобретение печальной памяти Петра Аркадьевича Столыпина пригодилось и во времена Ежова и Берии. Это — обычный вагон, в котором перегороден коридор вдоль всех купе, все купе отгорожены железной решеткой. И вот в таком купе, в котором нормально едет 4-6 человек, в столыпинском вагоне помещается 18-20. Лежать там нельзя, можно сидеть или полулежать. В такой обстановке мы ехали из Москвы до Тюмени. Вы представляете себе, сколько мы стояли на станциях, в скольких тюрьмах по дороге мы ночевали. Но что нас

утешало, так это то, что мы всюду чувствовали хорошее отношение к нам населения. Просили солдат, чтобы нам передавали хлеб, другую еду. Еще больше это было в 39-м году, когда мы ехали следующим этапом. Но об этом — разговор отдельный.

В Тюмени нас высадили, погрузили на пароход — естественно, в трюм — и повезли в Тобольск.

В Тобольск мы прибыли в 6 часов вечера. Было еще светло, поэтому нас сразу не повезли через город в тюрьму, а поместили в цейхгаузе, причем не разрешали ни сесть, ни лечь, мы должны были сидеть на корточках. Нас окружили примерно 15 солдат с ружьями на перевес и предупредили, что всякое движение будет рассматриваться как попытка к бегству. Все это сопровождалось страшной руганью. Один из наших товарищей, безногий, попросил разрешения прилечь, солдат его выругал матерно и сказал: «Грамотные очень, мы вам покажем!» Когда стало смеркаться, нас стали выводить на машину. Вначале шел солдат, потом один из наших, сзади — второй солдат. Потом так же следующего, третьего и так дальше. А по улице в это время ходили туда и назад несколько человек в штатском, по-видимому, переодетые работники органов. Так нас доставили в Тобольскую тюрьму.

В Тобольской тюрьме, в общей комнате нас принял дежурный, долго смотрел на каждого, как будто хотел вникнуть в душу, потом предупредил всех, что пельменями нас здесь кормить не будут, чтобы мы на это не рассчитывали. Потом повели в баню. Там были некоторые конфликты. Один венгр отказывался сбрить бороду, он к ней привык. Он говорил: вы можете мне стричь волосы, пожалуйста, но бороду я не хочу сбривать. Все-таки его заставили сбрить бороду. А другой товарищ, тоже венгр, бывший работник Коминтерна Шаша Квилар [?], наоборот, попросил, чтобы ему сняли длинную красивую бороду, потому что ему надоело, что в ней копаются во время обысков.

Кстати, знаете ли вы, что такое обыск? Уверен, что нет. Обыск в тюрьме — это значит, что обыскивают не только карманы, тебе заглядывают в рот, в нос, в бороду, в пальцы рук и ног и даже в задний проход. Это — особое мастерство обыскивать, особая наука.

После мытья нас одели в «ежовские мундиры» — придуманные в те времена специальные костюмы для заключенных: серого цвета с коричневыми заплатами — на шапке, на бушлате и на штанах. Когда нас так обрядили, мы ахнули, мы друг друга не узнали. И разместили нас по камерам. Меня разлучили с моим другом Лазарем Брандом. Надоело, на два года.

Камера наша была на редкость плохая. С одной стороны она граничила с уборной, и оттуда доносились все запахи. С другой стороны она была угловой и поэтому очень холодной. Пол цементный, стена зеленая от сырости. И вот в этой камере мы прожили больше года. Все вещи в камере: кровати, стол — стульев там не было —

были прикованы. Мы отныне лишались своих фамилий и отвечали только на свой номер. У меня был пятый номер.

Начались долгие тюремные дни. Как проходил день? В 6 часов нас поднимали, кормили, затем нам предоставлялось право делать, что мы хотим, — в пределах, конечно, тюремных правил. Здесь тоже выбрали комбед, выбрали культорга — культоргом меня выбрали. Обычно мы читали что-нибудь, рассказывали друг другу. Была довольно хорошая библиотека, мы подбирали книги из такого расчета, чтобы всем интересно было. Занимались языками. В камере оказались люди разных национальностей: русские, немцы, венгры. Нам разрешалось брать словари, и мы довольно успешно изучали языки — немецкий, французский, английский, даже латинский. Особенно немецкий. Я, например, довольно свободно в те времена говорил по-немецки, причем мы это делали сознательно, чтобы караульным было непонятно, о чем мы говорим.

20 минут прогулки, затем обычно еще раз кормежка и отход ко сну. Ничего как будто особенного, но в то же время все было особенным. Скажем, нам ни под каким видом не разрешалось читать газеты, но мы все же знали все новости. Каким образом? Когда мы шли в уборную, нам выдавался маленький кусок газетной бумаги для специальных надобностей. У нас была твердая договоренность, что каждый обязательно прочитывает то, что там написано, и запоминает. Благодаря этому, мы в основных чертах самые главные события знали. От недостатка информации у нас обострялось восприятие. Если, например, тюремные правила, подписанные Ежовым, снимаются и вывешиваются новые, на которых написано: «начальник тюремного управления Антонов», нам ясно, что Ежова уже нет. И потом действительно это подтверждается. В дальнейшем сменились и эти тюремные правила, были вывешаны другие за третьей подписью. Мы понимаем, что произошли какие-то дальнейшие события в органах. Смена тюремного начальства тоже для нас всегда что-то обозначала. Усиливаются репрессии внутри тюрьмы, — значит опять что-то происходит. А репрессии усиливались по всякому поводу. И без всякого повода.

Например, мы «гуляем» по тюремному двору. Гуляем, это значит в затылок друг другу следуем в течение 20 минут, не имея права повернуться ни вправо, ни влево. И вот один из нас увидел цветок, наклонился и поднял его. Немедленно всех нас остановили и повели назад в камеру. Но и в камеру не ввели сразу, а держали в коридоре. Когда же нас, наконец, впустили, мы увидели, что в камере был произведен повальный обыск. Были вскрыты все матрасы, перелистаны все книги — искали какую-то крамолу. А затем и нас всех обыскали по всем правилам искусства, о котором я рассказывал выше.

Особенно мне запомнился такой случай. Зимой было очень холодно в нашей камере. Единственное теплое место — у печки. Но у печки нам не разрешалось стоять, потому что она была плохо

видна из тюремного волчка. Кроме того, нас донимало правило ходить в уборную без рубашек. А в уборной всегда были настежь открыты окна — и это в Тобольске при 40-50-градусном морозе. Мы обратились к дежурному и попросили доложить начальству, что мы просим разрешения стоять у печки и ходить в уборную в рубашках. Дежурный куда-то ушел, потом вернулся и сказал: у печки стоять запрещено, так как мы не видны конвоиру. Что касается того, чтобы ходить в рубашках, то этот вопрос будет рассмотрен.

Когда наступил вечер и новый дежурный повел в уборную, большинство из нас вышли в рубашках. Только один — о нем речь ниже — вышел без рубашки. На вопрос «почему же ты, Ланге, без рубашки?» — он ответил: «мне так удобнее». Когда дежурный спросил, почему мы в рубашках, мы сказали, что нам разрешили. Вернулись в камеру с торжеством: наконец, добились права ходить в рубашках в уборную. Но наше торжество было кратковременным. Назавтра нам объявили: в связи с тем, что мы обманули администрацию тюрьмы, все лишаются переписки на три месяца и лавочки на месяц. Надо понять, что это значит для арестанта. В очередной обход начальством камеры кто-то из наших сокамерников поднимается и говорит: «У меня есть жалоба. Мне сказали, что можно ходить в уборную в рубашках, я пошел, а меня лишили переписки и лавочки. За что?» Поднимается второй и говорит то же самое. Тогда начальник и сопровождавший его оперуполномоченный устроили опрос всех сокамерников. Из 10 человек в камере 7 заявило, что они ничего не знают, им сказали, что разрешено идти в рубашках, поэтому они и пошли. Один — Ланге — сказал, что он знает, что запрещено ходить в рубашках, поэтому он пошел без рубашки. Двое — я и Бунин — сказали, что мы просили разрешения, нам пообещали рассмотреть и разрешить, и мы считали, что этого достаточно.

Начальство ушло, в камере, конечно, начались бурные споры по поводу явно провокационного поведения Ланге, и, мягко выражаясь, трусливого поведения остальных. Мы с Буниным действительно, говорили с дежурным, но мы же говорили от общего имени. Прошло несколько дней, и вдруг началось самое страшное. Является дежурный и вызывает меня с вещами — в карцер. В карцер попал и Бунин.

Карцер — это каменный мешок, примерно, шагов шесть в длину и два шага, кажется, в ширину. Места для сидения там нет, если не считать каменной тумбы под вентилятором. На этой тумбе сидеть нельзя, потому что она совершенно ледяная, можно сидеть, только если подложить кулак. Но долго на подложенном кулаке не просидишь. Снимают с тебя всю одежду, оставляют только нижнее белье, вынимают даже шнурки из ботинок. На ночь четверо солдат втаскивают тяжелую колоду, на которой ты спишь без всякой постели. Дают 200 г. хлеба и два стакана воды в день. Просидел я в карцере, по-моему, 5 суток, в карцере встречал новый 1939 год. Но вообще говоря, я в карцере себя прекрасно чувствовал, потому что я

там решал математические задачи по теории чисел. И решил. Я был счастлив, что мне удалось их решить, и мне было совершенно наплевать на все, что со мной делают. Но обстановка была жутчайшая.

За стеной сидел человек, который, как потом выяснилось, уже потерял рассудок. Однажды погас свет. Он стучит мне в стену: «Я же знаю, что ты — агент ЧК. Ну что тебе стоит, зажги свет!» В это время свет зажегся сам собой. И он говорит: «Я же вижу, что ты все можешь». Иногда он начинал стучать в дверь и кричать: «Я коммунист, я советский человек, кого вы мучаете!» Входили люди, и я только слышал его вопли, очевидно, они надевали на него смирительную рубашку.

А вот что случилось с моим товарищем по камере Буниным. Он мне рассказывал об этом, но я не знаю, можно ли ему верить или он тоже потерял там рассудок. Лев Миронович Бунин в прошлом был членом ЦК Бунда, до того, когда левая часть Бунда влилась в коммунистическую партию. Он работал вместе с Эстер Фрумкиной, с Вайнштейном и с другими руководителями Бунда. Затем, перейдя в коммунистическую партию, был заместителем председателя совета профсоюзов Белоруссии, заместителем наркомфина Белоруссии, перед арестом — начальником финансового управления Наркомата связи. Ему не повезло, бедняге. Он работал там в одно время с Рыковым, когда Рыков был наркомом связи. А после ареста Рыкова почти все работники Наркомата связи были арестованы. Я их потом многих встречал. Жену Бунина, прикованную к постели, взяли вместе с ним и в таком состоянии отправили в лагеря, на Яю — там были огромные женские лагеря из членов семьи изменников родины — ЧСИР, Чесоир, такое было тогда словечко в моде.

Бунин говорил, что в карцере на него направляли какие-то лучи. Думаю, он это выдумал, а впрочем, кто его знает. Будто его этими лучами пытали, заставляли в чем-то признаться. Он вынул изо рта золотой протез, сломал его, перерезал проволокой вены на обеих руках и, чтобы было вернее, набрал грязи с пола и присыпал. Но этим как раз он приостановил кровотечение. Его отвели в больницу, он там пролежал две недели, его вылечили, а потом дали месяц карцера «за злостные провокации и саботаж».

Когда мы потом встретились с Буниным, через много времени, он был уже вне себя. Мне было жутко, когда я видел, во что превратился этот бесспорно очень умный и дельный человек. Он заходил в камеру и первым делом осматривал потолок. «Миша, ты видишь?» А я видел только сучок. «Ты думаешь это сучок? Нет, это дырочка, через которую будут пускать газ». Когда по коридору тащили вязанку дров и сбрасывали ее у печки, Лев Миронович говорил: «Слышишь, они опять поставили аппарат».

В тюрьме, по-видимому, пользовались методом «наседки», т.е., в переводе на обыкновенный язык, подсаживали в камеру провокаторов. Иначе я не могу объяснить, почему то одного, то другого из нас ни за что, ни про что брали и сажали в карцер на 10-15 дней.

Примерно представляю себе, кто был «наседкой» у нас: бывший следователь Хохлов, которого посадили за избивание последственных. Я говорю с его слов; что на самом деле было, не знаю, злые языки говорили, что его посадили за взятку. Сильно подозреваю, что он был не без греха.

Вообще состав камеры был очень разношерстный, и какая-то была недоговоренность между многими. Из русских, из советских граждан были я, Бунин, Булгаков — колхозник из Подмосковья, Керенцев — из Сталинграда, сын бывшего комиссара, видного человека, он был очень молод, не могу понять, за что его могли посадить, и наконец, Хохлов. Далее было там три немца: Метцгер — немец из Германии, Ланге — немец из Австрии и третий Андреас — молодой немец, по его словам, комсомолец, из Берлина. Был там еще венгр Хауэр. До сих пор не могу понять, что происходило между немцами. Но они, в частности, Ланге и Метцгер, друг друга ненавидели. Часто Ланге, хотя он выдавал себя за шуцбундовца (в те времена в Австрии была такая рабочая организация, близкая к левым, к коммунистам даже) и за работника Коминтерна, вел себя явно провокационно, как в случае с уборной. Он отказывался, например, вступать в комитет бедноты. Ни от кого не хотел ничего получать и никому ничего не хотел давать, всячески подчеркивал, что он не имеет ничего общего с другими обитателями камеры.

Однажды, когда пришло начальство, мы узнали, что у него есть и другая фамилия: Риккерт. Почему две фамилии и какая настоящая, до сих пор для меня остается непонятным. Что касается Метцгера, то это тоже был таинственный господин. По его словам, он кончил два факультета в Иене — строительный и химический — и работал в Ленинграде консультантом по оформлению города. Арестован он был по обвинению в шпионаже. Я не знаю, был ли он шпионом, но то, что у него были некоторые не совсем обычные способности, это бесспорно. Он нам показывал опыты гипнотизма, причем очень удачные, заставил заядлых курильщиков отказаться от курева на 15 дней — они плевались, когда им предлагали папироску. А потом показал опыты телепатии — если бы я сам их не видел, я бы никогда не поверил, что такое возможно.

Например, он предложил нам как-то загадать в одной из трех книг какой-нибудь трехзначный номер страницы. Мы взяли три толстых словаря и загадали в одном из них страницу 375. Он взял эти три книги, долго их взвешивал на руках, смотрел на нас, потом отбросил одну книгу, отбросил другую и остановился на той, в которой мы задумали страницу. «Эта?» — говорит он. Эта. «Теперь слушайте дальше. Я буду сейчас думать о сотнях». Тут он стал листать листы туда и назад. «Триста?» Затем так же: «Семьдесят?» «Пять?» Причем он все время на нас сердился, что мы думаем не об этом, мешаем ему, пытаемся вести по неверному следу.

Или следующее, совершенно для меня непонятное. Он отошел в сторону и сказал:

— Задумайте какое-нибудь историческое событие, не очень мелкое, не какой-нибудь там соляной бунт, но и не очень крупное, не Октябрьскую революцию.

Мы решили взять революцию 1905 года — это достаточно крупное событие, а, с другой стороны, откуда немцу знать про такое событие? И, представьте себе, он угадал. Он рассказывал об опытах телепатии, которые делал у себя на родине. У меня представление, что его кто-то этому обучал, что он был человек не совсем обыкновенный.

Он очень хорошо знал литературу. Например, он нам рассказывал два вечера подряд биографию Гете. Я не думаю, что кто-нибудь из нас мог бы два вечера подряд рассказывать биографию Пушкина. Это сопровождалось чтением наизусть стихов Гете и других немецких поэтов.

Он очень много знал интересного. Например, он бывал в Сопоте — сейчас это Польша, а тогда это была Германия, около Данцига — втором месте после Монте-Карло, где играли в рулетку. Очень подробно и очень красочно рассказывал об этом, объяснял подробности игры в рулетку. Рассказывал и о том, как побывал в Париже. В первую мировую войну он был добровольцем немецкой армии, шел защищать свой фатерлянд. При всем при том он был явный, законченный немецкий националист, чтобы не сказать фашист. Явный, законченный немецкий националист.

И вот между ним, Ланге и Андреасом что-то такое было, они друг друга ненавидели. У меня впечатление, что они встречались на воле, но в камере они никогда об этом не говорили.

Очень забавный был венгр Хауэр. Абсолютно глухой венгерский еврей, который рассказывал всякие анекдоты на смешном русско-венгерском языке. Он говорил, что у него дядя — кустарник (кустарь), жаловался, что очень «замерзывает» в этой сибирской тюрьме. Забавный был дед.

Однажды что-то случилось. Ночью нас вывели из камер и куда-то повели — внутренними переходами, через подвалы, и, честно сказать, мы не были уверены, что идем не в последний раз. Наконец, мы пришли в длинную-длинную комнату. Там сидели какие-то чины, о чем-то нас спрашивали: фамилии, дело, как мы себя чувствуем. Врач говорил, как кто себя чувствует, — и больше ничего. Было ясно, что с нами собираются что-то делать. И действительно, через несколько дней нас вдруг превели в другие камеры, а через день, примерно, всех вывели во двор — и тут я опять встретился с Брандом. Нас отправляли в этап. Куда? Вначале было не ясно, а потом стало ясно. Нас отправляли всех в лагерь, на Колыму.

Итак, нас отправили в лагерь, на Колыму.

Правда, это было противозаконно, потому что мы были приговорены к тюремному заключению. Но Дальстрой (то есть строительство Дальневосточных лагерей) потребовал (или попросил),

чтобы нас предоставили как рабочую силу. Было вынесено решение: всех нас, кроме иностранцев, направить в лагерь.

До Тюмени мы плыли пароходом, от Тюмени — этап на Дальний Восток. Это было уже в 1939 г. Мы ехали, а вровень с нами шли нескончаемым потоком воинские эшелоны с вооружением, солдатами. Потом, примерно в районе Читы, они сворачивали по направлению к Халхин-Голу.

Помню, кажется это было в Чите, такой разговор. Рядом с нами стоял воинский состав. Конвоиры в это время бегали, доставали себе продукты. А там, на платформе, стоял офицер — тогда их еще не называли офицерами — лейтенант, два кубика. Он посмотрел на нас и говорит: — Вы заключенные? Это, впрочем, было ясно без слов. — Не бойтесь, ребята, я тоже был в заключении, меня вызвали в Москву и вот видите, одели, восстановили в воинском звании, я еду на фронт.

Не думаю, чтобы он врал. Действительно, с некоторыми тогда это было. Сколько нам в этот этап передавали и хлеба, и табаку, бросали в окна, сколько я видел женщин, которые стояли на станциях и плакали, глядя на нас. Потому что к этому времени уже редко в какой семье не было арестованного, родственника-арестованного, знакомого-арестованного. И все уже знали цену этому.

Наконец нас привезли во Владивосток и ввели во временный этапный лагерь-пересылку. Любопытно, что в этой пересылке была одна зона, которая называлась «Харьковской». Пересылка — это огромное количество барачков, причем барачков четырехъярусных, в лучшем случае трехъярусных. Это — голод, или, в лучшем случае, недоедание. Это — ожидание неделями направления. И, конечно, это — место, где передаются всевозможные слухи, приветы от товарищей, рассказывается о встречах, высказываются прогнозы, предположения, ставятся диагнозы существующего положения.

Здесь я узнал о многих своих товарищах, о тех, кто был арестован до меня, и о тех, кто был арестован после, где они, что с ними. Высказывались разные суждения, куда стоит ехать. Большинство хотело попасть на Колыму, потому что к тому времени была распространена легенда, что на Колыме не интересуются политическим прошлым, а обращают внимание только на работу, что оттуда люди возвращаются с наволочками, полными денег. Я не очень-то верил в эти наволочки, мне не слишком хотелось попасть туда. Но — не повезло. Была, для видимости, медицинская комиссия. Я явно не подходил к Колыме, потому что туда требовались люди физически здоровые, а у меня органический порок сердца, к тому же осложненный ангиоспазмами. Все равно меня направили на Колыму, как и моего друга Бранда.

Особый разговор о третьем этапе — из Владивостока до Чуркиного мыса. Всего, кажется, четырнадцать километров, но мы шли эту дорогу весь день — по жаре, без воды, с вещами. Мы неважно

выглядели и в начале этого пути, но как плохо мы выглядели к его концу!..

Все были обессилены и истощены долгим тюремным сидением. Многие страдали куриной слепотой — результат авитаминоза. Когда дело пошло ближе к вечеру, большинство уже ничего не видело, цеплялись друг за друга. Так мы и шли от Владивостока к Чуркиному мысу, размышляя о своей судьбе.

Во время этого перехода я внес еще один камень в собираемую уже несколько лет сокровищницу железной тюремной логики. У меня за плечами был самодельный рюкзак из рубашки, где среди других вещей — их было у меня не так много — лежала пара ботинок. Мы шли, долго шли, и вдруг я почувствовал, что мне стало как-то легче. Я посмотрел в рюкзак — одного ботинка не было. Видимо, в него запустил руку кто-то из наших блатных. Я горько усмехнулся — потеряно больше, взял второй ботинок и швырнул в сторону. Идем дальше. Через некоторое время говорят: «Миша, тебя товарищ спрашивает с ботинком».

Подходит ко мне какой-то молодой человек, а у него в руке мой ботинок. — «Это ваш ботинок?» — «Мой.» — «Я его нашел». Ну, естественно, я жду что он мне его отдаст. Но тут я ошибся. Он мне говорит: «Давай мне второй, и у меня будет пара». Такова логика в тюрьме. Как мне ни горько было, я рассмеялся и сказал ему: «Второго дать не могу, да и не очень хочу».

По этому поводу я позволяю себе вспомнить другой случай, другой пример той же железной логики. Было это в тюрьме, в Тобольске. Раз в две или три недели, сейчас не помню, нам разрешалось покупать продукты в тюремной лавочке. Мы с Буниным на всякий случай выписали масло и сыр, хотя разрешалось что-нибудь одно. Но мы решили, что чего-то может не быть: не будет масла, будет сыр. Представьте себе наше разочарование, когда всем принесли продукты, а нам с Буниным — ни масла, ни сыру. Мы постучали в окошечко. — «В чем дело?» — Просим корпусного. — «В чем дело?» — Просим зав. лавкой. Пришел зав. лавкой. — «В чем дело?» — Мы ему говорим, что подписали заказ на лавочку, но ничего не получили. Через двадцать минут он пришел, торжествуя: «Все правильно!» — «Что же правильно?» — «Вы написали сыр и масло?» — «Написали.» — «Ну вот, два продукта не полагается. Мы масло вычеркнули, а сыра не оказалось». Вот и все.

В тюрьме мы научились философствовать. Грубо говоря, было три направления философии. Одно из них можно изложить в виде старой восточной сказки. Жил человек, жил и потом он представил себе свою жизнь как непрерывную смену дня и ночи. День представлялся ему в виде белой крысы, а ночь — в виде черной. Жизнь все укорачивается. Что ему остается делать? Только пользоваться благами жизни. На эту тему у нас была даже поэма, которую сочинил Василий Тетерин, в прошлом партийный работник. В ней рассказывалось об арабе, за которым погнался взбесившийся вер-

блюд. Убегая от верблюда, араб оказался на краю обрыва, под которым текла река, кишачая крокодилами. Что делать? Араб все же решил прыгнуть вниз и повис на суку черешни:

«Взглянул араб — верблюд вверх,
 Оскалив пасть в лицо глядит.
 И страшный крокодил внизу
 Хвостом лениво шевелит.
 Тогда взглянул араб на сук:
 — Несчастный день! — Мой обмер друг.
 Грызут две крысы без конца
 Черешни корень. Жадный слух
 Ловил звук смерти роковой.
 И острый взор следил с тоской,
 Как крыса черная с другой
 Точили корень молодой.
 Что делать тут? Араб вздохнул,
 Подумал, горько усмехнулся,
 Еще раз вверх и вниз взглянул
 И к ягодам он потянулся.»

И такая мораль была:

«Хоть каждого из нас, друзья,
 Невзгоды жизни окружают,
 Все ж к ягодам тянусь и я,
 На ветке что произрастают.»

Не очень, может быть, почтенная философия, но, вообще говоря, понятная в том положении, в каком мы тогда, оказались. Она разделялась многими из нас.

Была и другая — философия личной лирики, тоски о семье, о прошлом, о счастье. Вот отрывки из стихов, которые я сам сочинил на эту тему. Называются они «Письмо к дочери»:

«Дочурка, девочка родная,
 В те дни, когда с тобой расстались мы,
 Сияла для меня ты, словно солнце мая,
 После разгула северной зимы.
 Я вспоминаю: крохотный ребенок
 Стучит ножонками, смеется во весь рот.
 Ты только вышла из пеленок,
 Еще не кончился твой первый год.
 На детском языке ты что-то лепетала,
 В восторге слушал я, от упоенья млея,
 Не знал тогда, что за хребтом Урала
 Мне уготован злой удел.»

Уж скоро восемь лет — мы все еще в разлуке.
И сколько нам еще придется ждать?
Дочурка, милая, моей душевной муки
Тебе не в силах рассказать.
Но нет, я все еще надеюсь —
Без этого к чему мне жить?
Желанный час придет, мечтать я смею,
Иначе ведь не может быть.
Мы снова встретимся и милую головку
Бессчетно буду целовать.
Немножко будет мне неловко
Тебя на руки поднимать
Такую взрослую. Но что сравнится
С отцовской нежностью?
И где границы
Ее безбрежности?»

Наконец, некоторые наши товарищи свою философию направляли в сторону гражданской лирики. Наиболее ярким ее выразителем был мой друг Лазарь Бранд. Вот его стихи, которые он посвятил мне в годовщину нашей отсидки в Тобольской тюрьме:

«Он прошел, как медведь,
Тяжело и бесшумно —
Этот долгий и страшный,
Мучительный год.
Но доньне тех дней,
Напряженных бездумно,
Я храню в своей памяти
Тягостный ход.
Эти дни, эти ночи
Были длинны и жутки.
Этот год, словно ночь,
В тишине просидел.
И в одни бесконечные
Страшные сутки,
Словно загнанный насмерть
Бобер, поседел.
Ключья мыслей кружились
В стремительной пляске,
Сердце сжало тоски ледяное кольцо —
Этой ночью впервые без грима, без маски
Я и смерти, и правды увидел лицо.
Омерзительна смерти поганая рожа!
Но знаком нам давно этот призрак-скелет.
Сколь страшнее узнать, что и правда похожа
На ужасный, кошмарный смерти портрет!

Кто сказал, что у правды глаза голубые?
 Тот не видел ее, не нашел, не искал,
 У нее, как у смерти, глазницы пустые
 И такой же зловещий безумный оскал.
 И под этим слепым и невидящим взглядом
 Застывает в сосудах горячая кровь,
 И, пропитана жгучим сомнения ядом,
 Гаснет вера в людей, и в добро, и в любовь.
 И от правды мучительной и беспощадной
 Мне хотелось у смерти защиты просить,
 Чтоб она мне рукою холодной и смрадной
 Помогла бы сознание мое погасить.
 Пусть мне смерть подарит слепоту и забвенье,
 Пусть я стану бесчувственным камнем. И вдруг
 В это самое страшное в жизни мгновение
 Я увидел тебя, мой товарищ и друг.»

Дальше я уже не помню и сейчас не могу согласиться целиком с настроением этой вещи, но она написана самой густой кровью сердца, и отказать в таланте Бранду нельзя. Никто из нас и не подозревал, что у него есть поэтический дар.

Однако отвлечемся от философии и поэзии и продолжим рассказ о нашем страшном путешествии из Владивостока на Чуркин мыс. Вся дорога была усеяна сначала чемоданами, а потом и людьми. Мы шли совершенно без воды, больные, понукаемые, окруженные конвоирами с собаками. Вначале бросали вещи. Потом стали сбрасывать пальто. Потом начали падать люди, и их стали подбирать на машины. Так мы пришли к пароходу, который должен был нас везти на Колыму — через Татарский пролив и Японское море.

Как и полагается, нас поместили в трюме — на нарах и под нарами, — где, по существу, мы и делали все физиологические отправления, потому что выбраться на палубу было очень трудно.

Во время дороги, а длилась она, если мне не изменяет память, десять суток, кажется, пять или шесть человек умерли и были выброшены за борт. На пароходе мы впервые имели возможность ближе познакомиться с блатными. В первую же ночь они сделали попытку ограбить нас, отобрать то жалкое имущество, которое сохранилось. Большинство безропотно уступали им, но в одном углу группа молодых товарищей оторвала доски от нар и изувечила несколько блатных, и на этом дело кончилось. Потому что все эти воры, блатные — храбрые только с теми, кто их боится.

Когда нас привезли в Магадан, мы были похожи на полутрупы. Ведь мы пролежали десять суток на одном месте, почти ничего не ели. В Магадане началась очередная комедия медицинской комиссии. Как и следовало ожидать, меня, несмотря на порок сердца и прочие «прелести», признали годным для отправления на прииск. И я был направлен на прииск «Речка Утиная».

Приехали мы, помылись в бане. Впрочем, баня — это довольно громко сказано. На каждого заключенного выдавалась одна шайка воды. Там же я впервые познакомился с системой дезинфекции одежды. Впускают, допустим, в баню человек сорок или пятьдесят, каждому дают железную вешалку, на которую он навешивает свои вещи, начиная от нижнего белья и кончая бушлатом, все, кроме ботинок. Это отправляется в соответствующие печи. После бани, которая длится минут тридцать или тридцать пять, вещи из печи выволакиваются и бросаются на пол. Очевидно, для вящей чистоты. Затем подымается какая-нибудь вешалка и вопрошается: «Чье?» Таким способом вы, наконец, получаете свои вещи, правда, в несколько потрепанном и испорченном виде, но это не так важно. Потом мы привыкли, что иначе быть не может. В парикмахерской меня стали «образовывать», называть первые лагерные слова.

Я тогда узнал, что такое «работяга», «доходяга», «придурок». Без этих слов в лагере жить нельзя. Что такое «придурок», по-вашему? Вы думаете, дурачок? Ничего подобного. «Придурок» — это лагерная администрация из заключенных: староста, бригадир, десятник, нарядчик — все те, кто не работает, но придуливается. Вообще в лагерной лексике много сочных слов, например, «кантоваться», «филонить», «темнить». Я даже одно время старался запомнить весь этот лексикон, или, как он называется на языке блатных, блатную феню. Она довольно своеобразная, хотя ограничивается небольшим количеством слов. С точки зрения блатного, все неблатные — «олени», или «фраеры»; есть еще несколько синонимов.

«Оленям» полагалось «упираться рогами», значит работать или «мантулить». А что касается мзды за это, скажем, получать паек, или, как говорят в лагере, пайку, есть — по-лагерному это называется «хавать» или «шамать», — то, это, очевидно, полагалось только блатным. Какие еще словечки я запомнил? Нас, более пожилых людей, а может быть, не столько пожилых, сколько выглядевших пожилыми, называли в лагере «пахан», мальчишек молодых — ну, это общеизвестно — «пацан». «Фикса» — золотой зуб, «клифт» — пиджак, «шхеры» — брюки, «колеса» — сапоги, «угол» — чемодан. Я довольно образован по этой части.

Предварительная чистка прошла; я помылся, постригся и пошел в барак. В бараке опять радость — встретил Лазаря Бранда, которого отправили партией раньше. Мы попали с ним в одну бригаду, на прииск по добыче золота. По литературе я представлял себе прииск иначе. Работали мы на примитивном приборе — «бутаре». Представьте себе наклонную плоскость, по которой пускается грунт. В нем наряду с незолотоносными слоями, торфом, как там говорят, имеются и элементы золота. По самому низу этой наклонной плоскости настелен бархат. Золото, как наиболее тяжелое, оседает и зацепляется за бархат. По наклонной плоскости идет все время струя воды. Пропускаемая порода, оставляя внизу золото, смывается водой

и идет дальше, где имеется еще несколько шлюзов и несколько заслонов, там она еще раз просматривается, не осталось ли золота.

В чем заключалась наша работа? Берется поверхностный слой, в котором имеются какие-то элементы золота, грузится на тачки и по рельсам возится к бутаре. Эту тачку надо подать высоко, под довольно крутым углом. Для этого нужна большая физическая сила. Правда, наверху стоит крючник, который багром зацепляет тачку и подтягивает ее кверху. И вот нас, измученных, больных, прошедших следствие, просидевших уже несколько лет в тюрьмах, потерявших здоровье, переживших несколько этапов, пожилых людей, заставляют либо кайлить скальный грунт — в условиях Колымы, по щиколотку в воде, в холод, дождь, снег, либо катать тачку — четыре десятых куба, полкуба, три четверти куба. Конечно, это было выше наших сил. Но метод работы был такой: пока бригада в целом не выполнит положенной нормы, никого с работы не снимали.

Мы работали, бывало, двенадцать, четырнадцать, шестнадцать часов. Хотя я лично никогда не выработывал свыше тридцати процентов нормы, не давал и физически дать не мог. Помню август 1939 года, — кажется, август. Он был очень дождливый. Работать было нельзя — ни кайлить, ни тем более катать тачки — они сваливались. Фактически мы и не работали. Но нас заставляли с утра до поздней ночи быть на работе. Конвоир стоял в будке, он был в балахоне, а мы насквозь пропитывались водой, и только поздно вечером нас уводили в зону. Жили мы не в бараке, а в палатке, и там нас тоже донимал дождь. Круглые сутки в течение месяца или полутора мы, по существу, гнили. Меня спасло от смерти только то, что у меня был еще один, запасной костюм. Я приходил и переодевался. Спасло конечно, и то, что этот костюм не понравился придурку, который, просматривая вещи, поднял его, посмотрел на свет и решил, что он ему не подходит. Ибо если бы он ему подошел, то он без всяких разговоров взял бы его, и тогда бы я, наверное, погиб.

В нашей командировке в эту зиму умерло сравнительно мало людей, но были командировки, скажем, такая печально известная, как Мальдяк, в которой в течение года умерло свыше двадцати процентов нашего брата заключенных.

Несколько слов о том, что представляла собой наша зона. Мы были осуждены к тюремному заключению, и по закону нас нельзя было направлять в лагерь. А когда нас туда все же отправили, то для соблюдения буквы закона нам создали в лагере тюрьму. Мы сами построили для себя внутри общелагерной зоны тюремную зону с особым режимом проживания.

Слово «зона» имеет двойной смысл: это не только пространство внутри ограды, но и сама ограда. Мы строили «зону» после работы, а подгонявшие нас лагерные придурки все время нам говорили: «Что вы тянете, вы же для себя строите! побыстрее не можете? Сами для себя строите!» Еще один пример все той же железной тюремной логики.

Когда была построена зона, мы оказались в страшных условиях. Во-первых, нас кормили позже всех остальных заключенных и хуже всех. Во-вторых, мы были лишены или почти лишены лавочки. В-третьих, режим был такой, что уже с вечера, например, запрещалось выходить из барака, и в самом бараке стояла параша — как в тюрьме. Не удивительно, что повсюду в лагерях, в «командировках», как там скромно они назывались, умирало много нашего брата, и очень многие болели; начались колымские болезни — цинга и пеллагра. Там было какое-то подобие библиотеки, была и культурно-воспитательная часть. В этой библиотеке мы нашли словарь, где было написано: «пеллагра — болезнь, которая имеет хождение в Индии, Японии, Китае. В Советском Союзе совершенно вывелась». У нас был очень большой процент больных пеллагрой — это люди, которые едят, как в прорву, едят и не полнеют, не поправляются. Пеллагра — очень серьезная болезнь, от нее скоро умирают. На языке официальной медицины в те годы не писали «пеллагра», а писали «алиментарная дистрофия». Но от этого нам было не легче.

Я недолго прожил на этой командировке, в условиях тяжелой физической работы, недоедания, в страшном режиме. Уже через два месяца свалился. И если бы не помощь товарищей, то я бы там и закончил свою жизнь. А дело было так.

Со мной вместе, на прииске в забое, работал врач Будиловский. Он сидел по 58 статье как политический заключенный. Не знаю, какими путями, но его статью пересмотрели и переквалифицировали на бытовое преступление. А как бытовик он уже имел право работать врачом. Будиловский попал на нашу командировку в качестве помощника лекпома. Да и сам лекпом, врач Люлькин, меня знал и хорошо ко мне относился. И вот я стал получать регулярную помощь. Меня стали освобождать время от времени на два, три, четыре дня от работы, стали подкармливать. Конечно, не сам врач. Через дневального медпункта передавали кашу, иногда хлеб, иногда еще что-нибудь съестное. Конечно, гораздо важнее было то, что я время от времени мог отдыхать. Затем меня положили в больницу при медпункте, где я пробыл несколько недель. Там меня подкармливали, я отдохнул. Потом, по настоянию врача, меня назначили дневальным в бараке. Это была высокая привилегия. Правда, это было связано и с большим трудом. Нужно было в бараке, точнее, в палатке, топить две большие лагерные печи. А вы себе не представляете, что такое лагерная печь. Это железная бочка, горизонтально положенная. Ее накаляют так, что она становится совершенно красной. Тем не менее в углах палатки снег и лед. И вот эту лагерную печь надо топить (как вы сами понимаете, я небольшой специалист как истопник), ночью топить, чтобы «работягам» было тепло, днем топить, а спать урывками. Был еще целый ряд обязанностей: ходить за обедом для лежащих больных; по команде старосты убирать палатку; иногда, по его команде, мы ходили на зональные работы,

скажем, собирать ягоды для кухни — там очень хорошая голубика. Но все-таки это было большим счастьем.

И вдруг счастье кончилось. В один прекрасный день из бригады пришел человек примерно такого же возраста, как я, и сказал, что бригадир его послал вместо меня дневальным, а я должен выйти в бригаду. И я вернулся к прежней работе.

Кажется, через три или четыре месяца пришла медицинская комиссия по проверке состава лагеря. И эта комиссия меня «активировала», иначе говоря, признала, что я не могу больше работать на прииске. По лагерному выражению я теперь мог «припухать», то есть отдыхать.

Но на этот раз радость омрачилась печалью разлуки с моим другом Брандом. Больше я его не видел. Однажды я получил привет от него через товарища, который из его командировки попал к нам, но это было последним приветом. Писать, естественно, нельзя было, всякая переписка между заключенными рассматривалась как политическое дело и всячески преследовалась.

Итак, меня «активировали» и списали в инвалидный городок, на шестом километре от Магадана. Там проживало в разное время от двух до пяти тысяч человек, а может быть, и больше. Считалось, что мы не работаем, что мы инвалиды. Практически же мы работали, но работа наша была очень непроезжая. Первое время все мы за пять-шесть километров доставляли лес для нужд лагеря, частично для топлива, частично для производств, которые там были: картонажной и мебельной фабрик, сушилки, цеха ширпотреба, зеркального цеха и некоторых других. Зимой, плохо одеты и обуты, ходили мы от трех до шести километров и таскали на себе лесину. По дороге отдыхали, сколько могли.

Жили мы в бараке. Там было так тесно, так грязно и неудобно, что страшно сказать. Питались в столовой.

Кормили нас больше всего супом с галушками — по талонам. Очень скоро появились фальшивые талоны. Мы их покупали, продавая иногда пайку, иногда табак, у кого был, иногда вещи. Часто эти талоны менялись, чтобы пресечь фальшивое талонное дело, но это не помогало. И самое смешное, самое странное было то, что, бывало, мы съедали по три-четыре порции этих галушек. Казалось, напихаешь в себя до отказа, а через час ты уже опять голодный. Как-то раз я попался с фальшивым талоном. Меня потащили к коменданту, но по дороге сопровождавший меня отпустил, так что я дешево отделался. А вообще, это мне грозило крупными неприятностями.

Появились, естественно, и лагерные придурки, и лагерные воры, и лагерные дурачки. Помню, был такой лагерный дурачок — Шапиро. Но, по-моему, он был не дурачок. У него все сумасшествие, вся дурачость заключались в том, что он прямо в глаза говорил всем, всему лагерному начальству, что они сволочи, сажают честных людей. Разве нормальный человек такие вещи будет говорить?

Иногда для пущей важности он выкидывал какие-нибудь фортели. Он работал дневальным при столовой, и все считали его лагерным дурачком.

Через некоторое время я окреп и поступил работать в деревообрабатывающий цех на мебельную фабрику. Вначале стал на циркулярную пилу, затем перешел на рейсмусовый станок, немножко работал на ленточной пиле. Не обошлось, конечно, без некоторых курьезов, если это можно назвать курьезами. Как-то я заснул пальцы в циркулярную пилу. Спасло только то, что я был в толстой рукавице — у меня сорвало рукавицу вместе с ногтями. Я побежал к шкафчику — там была аптечка, открыл и помазал йодом. В это время появился очередной администратор и сказал мне: «В следующий раз вы без спроса не берите». Я ответил, что постараюсь, чтобы следующего раза не было. Работал и на сушилке. Там я мог делать только самую черную работу, подносить и относить лес. Потому что в самой сушилке работать было совершенно невозможно. Там до шестидесяти градусов жары.

Очень интересный был там состав народа. В буквальном смысле слова цвет советской интеллигенции. Вот что представляла собой наша смена, когда я через некоторое время попал на мебельную фабрику учетчиком. Моим сменщиком по учету был профессор промышленной статистики Югенбург. На ленточной пиле работал инженер Летто. На рейсмусовом станке — инженер-экономист Мазо, на фуговальном — секретарь райкома партии из Днепродзержинска Смирилов. Шифровальщиками, или разметчиками работали главный инженер завода им. Марти Гробко, ленинградский журналист Похвалинский и один из работников обкома комсомола Ленинграда Студенкин. На фрезерном станке работал командир дивизии Тищенко, на шипорезном — аспирант Томского университета (я забыл его фамилию). Вот примерно какой был состав нашей смены. Там я встретил таких людей, как Переверзев — очень известный литературный критик. В лагере он был самым никчемным человеком, доходягой, больше, чем работу сторожа, ему доверить не могли. Это был уже глубокий старик, по-моему, он там в лагере и умер. Приходилось встречать старого большевика Юрия Константиновича Милонова. Сейчас иногда читаю в *Правде* письма старых большевиков с его подписью. Встречал, скажем, такого человека, как Лапкин — заведующего кафедрой в Среднеазиатском университете. Но так как он работал одно время вместе с Лазарем Шацким, то этого было достаточно, чтобы он попал на Колыму. Знал я там человека (кажется, его фамилия была Риш, старого большевика, политэмигранта), который работал над проблемой механического сердца — в то время это была совершенно новая проблема. Видел много очень интересных людей во всех областях: и инженеров крупнейших, и экономистов, и врачей.

На картонажной фабрике работал человек, с которым мы учились в университете. Я пришел как-то в баню (уже в инвалидной

командировке), и человек, который принимал и выдавал белье, оказался моим товарищем по университету Толей Коганом. Когда-то мы были в одной комсомольской организации, знали друг друга, и вот где пришлось встретиться. Он мне рассказал о многих наших товарищах, которые погибли здесь. То обстоятельство, что я просидел несколько лет в Тобольской тюрьме, в какой-то мере предохранило меня от смерти. Я, так сказать, попал во второй поток. Первый поток от 1937 до 1939 г. на Колыме был самым страшным. Это было время, известное в истории Колымы под названием «гаранинщина». Тогда начальником Дальневосточных лагерей был некто Гаранин. Он работал под лозунгом «Из Колымы не выходят, из Колымы только выносят». Расстрелы — за все. Не выполнил норму — это квалифицируется как саботаж. Затем суд, а иногда и без суда прямо в заботе человек расстреливается как саботажник. В зимнюю колымскую стужу, в страшные морозы оторвал кусок одеяла и сделал себе шарф — квалифицируется как диверсия и вредительство, и человека осуждают к расстрелу. Приказ о расстреле оглашается всем для назидания. Говорили, что иногда Гаранин, чтобы ублажить свою супругу, стрелял из окна в проходившую мимо колонну заключенных.

Не знаю, я приехал позже, когда он был уже снят и вместо него был начальником Вишневецкий, тоже не Бог весь какая цаца. Он ранее работал следователем. Встречая вновь прибывших заключенных, он искал среди них своих «крестников», то есть тех, кого сам сажал в тюрьму, и очень рад был, если ему удавалось их встретить.

Но все же время, начиная с 39-го года, было уже несколько легче, чем до 39-го. Мне в какой-то мере посчастливилось, что я несколько лет просидел в тюрьме. Те, которые попали на Колыму раньше, подвергались большому риску погибнуть.

Самым страшным в любом инвалидном городке, где условия почти одинаковые, была угроза, что очередная комиссия снова направит тебя на прииск. Когда приближалась комиссия, делалась попытка так или иначе ускользнуть от направления.

Один из наших товарищей, работавший на ленточной пиле, якобы нечаянно отрезал себе палец. Предполагалось, что это его спасет от направления на прииск. Не помогло. Его все равно послали. Помню, как я сам несколько дней прятался в цехе среди огромного вороха картона, который там стоял. Устроил из него себе будку, и мне товарищи приносили еду. Не помогло. Меня назначили на комиссию. Она определила меня на прииск, и я бы, несомненно, погиб, если бы не еще одна случайность.

Я тогда работал нормировщиком в цехе, а начальником цеха был вольнонаемный. Когда мои товарищи побежали к нему и сказали, что меня направляют на прииск, он пошел и прямо из-под конвоя меня забрал. Он был большим начальником, сказал, что я ему нужен, отобрал назад мое дело, мою папку, и я таким образом был спасен.

Больше на прииск я не попадал. Оказаться там второй раз означало бы для меня, конечно, смерть.

Всего я пробыл на Колыме три года — до 1942 г.

Начало войны мы пережили на Колыме. От нас пытались скрыть, что началась война. Газет нам не давали. Но потом — разве такую вещь можно скрыть? — мы, конечно, узнали, что война началась.

Ну, естественно, реакция всех честных советских людей, и моя, и моих близких товарищей была одна. Мы все подали заявления с просьбой зачислить нас в армию. Нам отказали, никого из нас не взяли. Брали только либо бытовиков, уголовников, среди которых далеко не все подавали заявления, либо крупных военных, которые были с нами в лагере. А в лагере было много крупных военных.

Помню, например, комкора Никитина, заместителя начальника политуправления Белорусского военного округа Сычева Ивана Ивановича — он там так и погиб; помню начальника оперативного отдела штаба Ленинградского военного округа Никоновича. Это те, кого я запомнил, многие не называли своих должностей. Кажется, из всех этих людей только одного Никитина выпустили на волю. Потом мы уже узнали, что в то время освободили и реабилитировали таких людей, как Рокоссовский и других. Но тогда мы этого не знали. Блатных, уголовников брали, но, к сожалению, или, не знаю, не к сожалению, из них далеко не все подавали заявления.

В 1942 г. очередная комиссия постановила вывезти часть из нас на материк. Материк — это лагерное слово. Колыма ведь тоже на материке. Но для нас Колыма была особая страна. Недаром у нас ходила присказка: «Колыма, Колыма, чудная планета, двенадцать месяцев зима, остальное — лето». Вообще-то, очень оригинальная страна, очень интересная и очень красивая.

Бывший там со мною художник уверял, что такие тона, такие краски, как на Колыме, встречаются только в Японии. Или, скажем, какие там красивые горные перевалы. «Дедушкина лысина», «Атка» — это названия перевалов. Стиль жизни на Колыме совершенно особый. Вся жизнь налажена и идет только на трассе. Есть специальная дорожная служба, тоже обслуживаемая нашим братом — зэками. По обе стороны от трассы — ледяная пустыня. Зимой, во время буранов и заносов, трасса не успевала обеспечивать припасами командировку, бывало голодно, и даже очень.

Мы распрощались с Колымой в 1942 г. и уехали на материк. Опять пароход — на этот раз, кажется «Волховстрой», опять больше недели мотание по Великому океану, опять голод, мученья, и наконец, мы высадились в бухте Находка. Между прочим, среди наших товарищей ходили зловещие слухи о том, что не всякий переход через океан кончался благополучно. Говорят, был случай, когда судно с заключенными остановил японский патруль и потребовал предъявить документы. Патруль удалось обмануть и убедить его, что

внизу едут люди, которые нанялись на работу на Колыму. Это еще сравнительно благополучный исход. Видимо, патруль был не сильно вооружен и не хотел вступать в конфликт с командой парохода. Слышал я и о таком тяжелом случае. В открытом море на пароходе случился пожар, но никого из трюмов не выпустили, и там все погибли. Ручаться за достоверность этих сведений я не могу, но такие слухи среди эков ходили.

И вот мы оказались в Находке. После тяжкого климата Колымы Находка показалась нам раем. Зелень, птицы поют, обыкновенный поселок, где обыкновенные люди, а не только эки и солдаты. Нас разместили в лагере. Жили мы в Находке два месяца. Жили впроголодь, нас кормили еще хуже, чем на Колыме. Но больше всего нас одолевали, простите за интимность, клопы. Никогда я не видел такого количества и таких крупных клопов. Они двигались по стенам целыми легионами. Спать в помещении на нарах было вообще невозможно. Мы пытались спать на полу, но клопы нас вскоре выгнали, и мы все вповалку спали во дворе. Такая это была гигиеничная командировка.

Но вот кончилась и эта пора, и нас разобрали кого куда. В основном наша группа попала в Среднебельский совхоз. Не обольщайтесь, не думайте, что это обычный совхоз — это тоже лагерь, который имел несколько командировок (кажется, семь или восемь) и занимал территорию более ста квадратных километров. Расположен он между Благовещенском и Куйбышевкой-Восточной. Нас привезли туда и разместили в командировки и в подкомандировки.

Вначале я попал в подкомандировку — пункт, расположенный почти на берегу огромной дальневосточной реки Зеи, притока Амура. Впоследствии мне пришлось жить на этой реке. Зимой мы работали на ней, и я видел, насколько она могуча и красива. Но когда я попал туда, мне было не до реки и не до красот. Там не было не только домов, но даже палаток. Все наше арестанское поголовье жило в трех землянках.

Работали в поле. Что это была за работа? Картошку копали до глубокой зимы. Рубили землю кайлом, топором, и все равно значительная часть картошки оставалась зимою в поле. Потом весной мы на местах бывших буртов видели много тонн картошки, уже превратившейся к этому времени в крахмал. Молотили на комбайне и на молотилках — тоже до глубокой зимы.

Все же этот период моей жизни — на Зее и в других командировках — я считаю относительно счастливым.

Во-первых, мы весь день находились на свежем воздухе. И хотя мы работали много, даже очень много, но свежий воздух — это не то, что работа на шахте или в шурфе. Во-вторых, хотя кормили нас в казенном порядке довольно слабо, мы находили себе пропитание сами.

Осенью мы как-то попросили лагерное начальство, чтобы нам разрешили варить себе картошку. Начальство не разрешило: «Вас

кормят». Но, конечно, если мы копали картошку, то мы пекли ее в золе костров. И бывало так, что большой начальник проходил, ногой выталкивал из огня картошку, благополучно ее съедал, с удовольствием, с аппетитом, а потом говорил нам: «Мы вас накажем за то, что вы печете картошку». По немоу сговору с конвоиром мы устроили так, что один человек из нашей бригады занимался тем, что только варил картошку. Мы достали казан — он чистил и варил картошку. А остальные копали.

У нас подобралась бригада хороших людей, и мы честно работали и считали, что имеем право на то, чтобы сытно есть. Бывшие с нами уголовники либо совсем не работали, либо старались работать поменьше. Вообще, даже и в мелочах, и в такой обстановке, когда мы сами были заключенными, нам приходилось отстаивать элементарные принципы советского человека.

Например, весной, когда привозили семенную картошку и уголовники таскали ее, чтобы печь и варить, мы с ними вступали в спор, а иногда и в драку. Или, скажем, начиналась пора посадки капусты. Уголовники часто сажали капусту листьями книзу, корнями кверху. Мы считали, что наше дело, где бы мы ни были, работать честно, и мы это делали.

Сельскохозяйственные работы с непривычки — тяжелый труд. Например, копать картошку. Я вначале пытался это делать наклонясь, но вскоре у меня спина так заболела, что я перешел на способ сидения на корточках. Долго на корточках тоже усидеть не удалось. Я практически работал, ползая по земле и копая картошку. А руки — если бы вы видели, какие у нас были руки! Грязные, — это само собой разумеется, но от лопаты они делались как бы квадратными, четырехугольными. Руки становились, как грабли, и ночью мы ложились спать с негнувшимися пальцами. Наутро они очень болели. Первые полчаса-час работали с трудом. А потом, ничего, расходились.

В Среднебельском лагере я прошел весь курс сельскохозяйственных работ: весенних — пахота и боронование, посадка картофеля и капусты, летне-осенних — косил хлеб, сено, стоговал, скирдовал. Не могу похвастаться, что я был очень хороший работник — это была бы неправда. Но, во всяком случае, я был упорный и кое-чему научился. Я выбирал себе иногда самые тяжелые работы. Например, при уборке хлеба считаются более легкими работами подгребание и сноповязание. Я же этим не мог заниматься, потому что для меня ходить наклонившись и вязать снопы совершенно невозможно. У меня начинает сразу сердце выпадать куда-то, и я могу упасть в обморок. Я выбрал себе косу. Вы себе представляете, какой из меня косарь был. И все-таки. В этом есть даже своего рода поэзия. Красиво это. Особенно хорошо косить дальневосточную гречиху. Такой звук: ж-жик, ж-жик. И она так хорошо ложится. Трудно бывает косить хлеб, который немножко полег. Он переплетен, одна прядь мешает другой, а косить надо. Помню, нас работало в звене

пять человек. Впереди шел Криворот, природный украинский хлебороб, а я шел за ним следом. «Ручка» была пятьдесят-шестьдесят метров. «Ручка» — это участок, который делают в один прогон косари. Он шел, и я шел за ним следом, мне нельзя было отставать. Когда мы дошли до межи, я свалился и лежал, а Криворот говорит: «Был один жидок, и того нету, кончился, мабуть». Когда мы работали на молотье, меня, как явно непривычного к такой работе, пытались сначала ставить на более легкие работы. Поставили на уборку половы, но пыль так забивается в нос, в глотку и в уши, что стоять там совершенно невозможно. Потом меня перевели на стогование соломы. Там немногим лучше. Стоял я у самого «стола», то есть у того места, куда подают снопы для закладки в комбайн. Там нужна ловкость и быстрота, потому что иначе либо застопоришь комбайн, либо, наоборот, он будет работать вхолостую.

В конце концов я стал носить от комбайна мешки с зерном и ссыпать их в бурт. Конечно, я брал, сколько мог. Я подошел к комбайну, к задней его части, где заком, мне мой напарник насыпал полмешка, я взваливал его на плечи, шел и ссыпал его в бурт. И так в течение всего дня. Даже лагерное начальство заметило мою ретивость и как-то отметило: «Смотрите, какой слабосильный, а старается, работает».

Однажды со мной произошел тяжелый случай. Это было глубокой зимой. Я отошел от комбайна с мешком, а когда пришел назад, увидел, что заслонку, через которую ссыпалось зерно, заело, и заком переполнился, зерно стало бить через верх. Мой напарник никак справиться не мог. Мы все были в ватном: в ватных рукавицах, в ватных куртках, в ватных штанах. Он скинул рукавицы, за ним и я, стали мы вдвоем вытаскивать заслонку, чтобы дать ход зерну. Сколько мы возились, не помню. Пришел бригадир, стал нас ругать не совсем парламентскими выражениями и вдруг говорит: «Курман, посмотри, что у тебя с руками. Немедленно потри снегом». Я посмотрел и ужаснулся. Руки стали белого цвета и прозрачные, как бутылки. Я их растер снегом, меня отпустили домой. После этого я промучился несколько недель, мои руки долго были в обмороженном состоянии. Но и на этот раз пронесло.

Помню другой случай, который мог оказаться печальным для меня. Я бороновал в поле. У нас было звено, человек пять-шесть и один солдат. Мы разошлись в разные концы, и я со своей парой коней пошел на один конец бороновать. Крестьянские лошади знают, как вести борону. Их понукать не надо, они сами лучше, чем я, будут бороновать. Но мне почему-то казалось, что конь сбивается, и я все время правого жеребца дергал вожжами, кричал на него, и он рассердился на меня. Я к нему подошел, дернул вожжой, а он со всего маху задними ногами как ударил меня под сердце — и я свалился. Мое счастье, что это было очень близко, не на весь размах ног, и, по-видимому, он попал все-таки не в сердце, а чуточку пониже. Сколько я лежал? Ну, наверное, не меньше двадцати минут.

Когда я поднялся, лошади стояли, и мой приятель-конь смотрел на меня искоса: что я буду делать дальше. Вперед они не пошли. Я поднялся, посмотрел вокруг — никого. И я промолчал об этом случае вообще, мне было стыдно, что со мной такое случилось. Но, честно говоря, я иногда и до сих пор чувствую этот удар. А тогда, в лагере, очень крепко чувствовал. Попал бы он на несколько сантиметров выше, и был бы конец.

Осенью была картошка. А зимой, когда мы грузили зерно на машины или молотили, устраивали жаровню из куска жести и поджаривали зерно. Солдат, которые нас конвоировали, мы тоже угощали жареным зерном — некоторые из них не отказывались.

Весной было совсем хорошо. Мы выходили бороновать. У каждого из нас на бороне была привязана самодельная сковорода, вроде жаровни, на которой мы пекли блины из остатков прошлогодней картошки — из крахмала. Промывать эту картошку некогда было и нечем, солить тоже было нечем. Попадались и черви в этой картошке, мы их сбрасывали. Цвет картошки был неизвестно какой — то белая, то зеленая, то красная. Вы никогда не видели разлагающуюся картошку? Но одно качество было: блины получались огромные и горячие, и мы их ели с большим аппетитом. И солдаты с нами ели.

Солдаты к этому времени нас сторожили не кадровые, а ополченцы. Среди них попадались хорошие люди, которые понимали, кто мы такие, почему тут сидим. Но бывали, конечно, и мерзавцы, которые нас всячески ущемляли, обижали. Некоторые из нас умудрялись пронести в лагерь зерно, картошку. Правда, это наказывалось, причем очень сурово, очень строго.

Если, скажем, человек попался с зерном, то ему давали без суда еще год сроку. За пять картошки — тоже год. Мы все же умудрялись пронести. Зерно насыпали в валенки, но потом вахтеры в лагере стали заставлять снимать валенки. Тогда стали делать нечто вроде кашне — мешочки с зерном на шею. И это обнаружили. Были и другие приемы. Самым обычным был такой. Насыпали в рукава зерно или картошку и, подходя к солдату, делали такое движение: на, обыскивай. Руки простирали в обе стороны, он обыскивал туловище, и, конечно, ничего не находил.

Однажды я сильно струхнул. Я обычно брал мало или совсем не брал. Но как-то я позавидовал товарищам и тоже взял несколько картошек. И вдруг нас стали обыскивать. Тут же присутствовал начальник лагеря — тот самый, который хвалил меня за то, что работаю без отказа. Он и говорит вахтеру: «Ну что ты его будешь обыскивать, мы же знаем, что он работяга, пропусти». А у меня как раз было несколько картошек, и мне грозил этот самый добавочный год. Повезло. Мне вообще везет в жизни.

Так мы и жили. Иногда наша жизнь имела из ряда вон выходящие события. Ну, например, на праздники — майские, октябрьские — нас не выпускали на работу и запирали в бараке. Почему это делали,

зачем — не очень ясно. Ожидали от нас каких-нибудь эксцессов? Мы не собирались. Иногда насакивали вахтеры и делали обыск. Находили картошку, зерно, кастрюли, котелки — все это отбирали, уничтожали — и все. Надо сказать, что в лагере вахтеры были не такие искусные, как в тюрьме. Вот в тюрьме это умели делать досконально. Я рассказывал уже об этом. А здесь это были плохие ремесленники.

Важным событием для нас была баня. Она находилась в другой командировке, за четыре километра. В этот день мы не работали. Поначалу мы чувствовали себя там неловко. Дело в том, что в бане вся прислуга — женская. Полагается в бане каждому арестанту выбривать на теле волосы. Поймите наше положение, когда эту операцию производит девушка. Она себя чувствовала довольно свободно, но нам было не по себе. Потом, конечно, привыкли.

Бывали и другие трагикомические события. Как-то я заболел и остался в лагере. А в это время пришла команда: всех выгонять в баню. Всех, кто остался в лагере, погнали в баню. А там в тот момент мылись женщины. Это не помешало нашему начальству загнать нас в женскую баню. Говорят, в Финляндии это принято. Но у нас это не принято, и я себя чувствовал не очень хорошо.

Иногда мы доставали обрывки газет, кое-что узнавали. Как-то узнали, что распустили Коминтерн. Мы это, конечно, горячо обсуждали. Для нас было событием, когда мы увидели первого солдата в погонах. Однажды весной нашу группу, человек пять, послали на погрузку картошки на баржу. Приезжали машины из овощехранилищ, а мы их загрузили в бурты для отправки на баржу. На этот раз над нами смилостивились и разрешили есть картошку вволю. Это было большим счастьем, потому что весной нам картошки вообще уже не давали. Но мы на этот раз не стали есть картошку, потому что у нас было более вкусное блюдо. К нам пришел какой-то начальник, а их к нам ходило множество — из Хабаровска, из других городов; проверяли готовность картошки к отправке в баржу. Один из них пришел с собакой. Не знаю, по какой причине, но он взял у конвойного винтовку, отошел в сторону и застрелил собаку. Грешным делом, мы эту собаку нашли, и один из наших ее освежевал. Мы ее приготовили и стали есть. Не все, конечно, один старичок рязанский отказался.*

.....

Мне писали мои сестры, посылали посылки... Все медикаменты, которые мне присылала сестра (а она фармацевт), в лагере отбирались. Потому что такие вещи, скажем, как люминал и прочее снотворное, в лагере рассматривают как наркотики, а наркотики в лагере очень дорого стоят. Как-то я получил гематоген — такие плитки гематогенные. Естественно, вместе с товарищами мы их в

* Часть записи утрачена. — А. В.

один вечер все съели. Получал что-то из одежды. Важен был, в конце концов, даже не сам факт, не сами вещи, хотя и это было очень дорого и ценно, важно было внимание, что тебя помнят, что ты не один на свете. Страшнее одиночества ничего нет.

Наконец, я попал на более высокую ступень лагерной лестницы. Меня взяли работать в контору, где работал нормировщиком мой товарищ по Колыме Мирон Павлович Капланович. Он и добился, чтобы меня взяли в контору, и я стал работать экономистом. Это уж совсем другое положение. Во-первых, не работать в поле. Хотя там и свежий воздух, но там же и зной, и холод, и дождь. Во-вторых, я жил в бараке АТП (административно-технического персонала). В-третьих, как в лагере водится, нас немножко лучше кормили, чем работяг.

В лагере вообще хуже всех кормился тот, кто непосредственно работал. Лучше всех ели придурки, обслуга на кухне, вся эта администрация и малина лагерная, а рабочим, работавшим в поле, меньше всего доставалось.

Дел в конторе было много, особенно вечером, когда бригады приходили с поля, и надо было подводить итоги рабочего дня. Но все-таки мы уже попали в разряд, так сказать, лагерной аристократии. Нам разрешались даже некоторые вольности. Например, запускать прическу, носить не лагерную, а собственную одежду — в пределах лагеря, конечно, потому что за пределами лагеря мы вообще не бывали, а бесконвойным — были и такие — не разрешалось в своей одежде выходить. Попался нам в этот раз хороший человек — начальник лагеря. Я и сейчас не могу без уважения о нем вспоминать. Звали его Петр Степанович Белкин. Он был молодым человеком в звании младшего лейтенанта и, очевидно, прекрасно понимал, с каким «материалом» имеет дело. Однажды он меня попросил, чтобы я с ним занимался математикой и немецким языком. И я стал с ним заниматься. Он очень внимательно слушал и записывал. Я кое-что интересное ему рассказал. Но наши уроки скоро прекратились. Его вызвали в ОЧО (в переводе на русский это означает оперчекистский отдел) и намекнули, что негоже начальнику лагерного отделения, коммунисту, офицеру иметь связь с заключенными. Занятия закончились. Но все равно он сохранил ко мне уважение и хорошее отношение. Он как-то сказал: «Я вам завидую. У вас есть знания, образование». Я говорю ему: «Ну, что вы, Петр Степанович, — с глазу на глаз я иногда называл его не “гражданин начальник”, а Петр Степанович, — что вы, Петр Степанович, вы же офицер, начальник командировки, а я заключенный». А он отвечает: «Это все пройдет. Когда-нибудь вы будете вольным. А я что?» Надо сказать, что по тем временам, в той обстановке это было достаточно смело и довольно прозорливо. А обстановка была трудная. Начальник этого самого ОЧО капитан Бейлин имел свою агентуру везде: и среди вольных, и среди заключенных, и любое

неосторожно сказанное слово, любой неудачный шаг — все это бралось «на карандаш».

Однажды, на третьей командировке, я как-то сказал начальнику капитану Глазову, что у нас трудные нормы для выполнения, что мы не можем выполнить этих норм. А в ответ услышал, что если я еще раз это повторю, он сообщит в оперчекотдел, что я занимаюсь саботажем и контрреволюционной агитацией. Конечно, с тех пор я на эту тему перестал говорить. Такой был стиль руководства нашего начальства и так нам жилось в этом лагере. Все же там было не так уж плохо. Правда, были и совершенно дикие вещи, о которых даже и рассказывать неудобно. Одно время мы жили в третьем отделении. Это была женская командировка и небольшая мужская подкомандировка. Был лаз из мужского в женское отделение. Когда нас заставляли, то препровождали оттуда обратно. У меня никаких злых намерений не было. Я ходил туда потому, что иногда меня подкармливали, давали хлеба. Я выстругивал для хлебoreзки палочки, чтобы соединять пайку с довеском. Хлебoreзка была в женской зоне. Иногда мне за это давали полпайки или пайку.

В этой женской командировке жили женщины, девушки. Лишенные мужского общества и будучи не в состоянии удовлетворять свои естественные потребности, которые пресекались в лагере, считались вообще грехом, они прибегали к формам лесбийской любви. Некоторые женщины, наиболее мужеподобные, старались одеться по-мужски: в мужской кепке, в сапогах, иногда в брюках (их в лагере называли «коблами»), и за их любовь, за их внимание остальные женщины в лагере дрались между собой, спорили. Другая группа женщин занималась онанизмом. Таких называли ковырлялками. Однажды мы нашли в лагере мужской половой член из дерева. Может быть, я зря все это рассказываю, но это факты. Этот омут процветал. Но я не знаю, скажем, лучше ли, что в другой командировке интеллигентные советские девушки спутались с бандитами. А может, они не могли не спутаться? Быть женою — если это можно назвать женою — бандита, значит, что тебя никто другой не обидит. Это в какой-то мере гарантировало им жизнь и защищало от многих притязаний и приставаний.

О легкости нравов в лагере можно судить по такому факту. Дело было, кажется, летом 1944 или 1945 г. Целую группу женщин, заключенных откуда-то с Дальнего Востока, освободили. Но так как наш совхоз нуждался в рабочей силе, то им просто не дали свободного проезда, а заставили еще три месяца поработать в совхозе. Это было противозаконно, но тем не менее было сделано. И вот их поместили к нам, в нашу командировку, отгородив особой зоной. Они жили отдельно, но ходили в нашу зону за хлебом, за супом. И таким образом познакомились с нашим братом. Кое у кого завелись дружки; за этим не очень смотрело начальство. Но самое интересное было в конце. Перед их освобождением начальник лагеря в припадке

либерализма разрешил открыть вход в нашу зону. И в эту ночь редко кто спал один. Такие были нравы.

22 марта 1947 г. истек мой срок. Надо отдать справедливость: меня ровно в тот же день освободили и вместе с конвоем, правда, с условным конвоем, потому что в роли конвоя на этот раз выступал расконвоированный заключенный Головкин, который был дневальным в нашем бараке, меня привели в районный поселок, в райисполком за получением документа об освобождении.

Невеселый был документ. Это был не паспорт, а справка о том, что я освобожден из лагеря, где находился десять лет, что я не имею права жить во всех крупных и областных городах, в городах, которые находятся на расстоянии до ста километров от крупных городов. Вообще, неизвестно, где я имею право жить. Я выбрал себе местом жительства город Рубцовск на Алтае. Там жили дети моего солагерника. Он списался с ними, и они обещали меня приютить... Но оказалось не так просто туда попасть.

Было у меня всего рублей сорок. Тридцать рублей в одной бумажке и десять — мелочью. Я получил свой документ и вернулся опять в лагерь. И только потом машиной поехал в Куйбышевку-Восточную, откуда шла главная трасса — Транссибирская магистраль. У меня был адрес человека, который должен был мне помочь достать билет. Уехать из Куйбышевки было очень трудно. Весь вокзал был загроможден людьми. Мне сказали, что я вынужден буду жить на вокзале неделю или десять дней, потому что уехать невозможно. Тогда я пошел по указанному мне адресу.

[Конец записи.]